

Даниил Лукич Мордовцев СВЯТОЙ ПАТРИАРХ

Великий раскол

Часть первая

Глава I. ПОПЫТКА К ВОЗВРАТУ

В ночь с 17 на 18 декабря 1664 года из ворот Воскресенского монастыря, что под Москвою, выехало несколько саней. В передних, с высокою спинкою, обитых чёрною материею, виднелась массивная фигура в чёрном высоком клобуке, на котором, при мерцании звёзд и движении саней, искрились разноцветные огоньки дорогих камней. Против него, на переднем сиденье, виднелась другая человеческая фигура, над которою высился большой крест, тоже искрившийся огоньками. Проходившие в это время по дороге люди, завидя передние сани и крест, поспешно отошли в сторону и упали ниц.

Ночь была морозная, тихая. На небе вызвездило. Необыкновенно ярко выступали из мрачного покрова, раскинувшегося над землёю, то трепетные и мигающие, то яркие и дрожащие искры далёких огней, брошенных неведомою силою в

пространство, и чем дальше всматривался в них глаз, тем далее, казалось, уходили они в мрачную, беспредельную даль и пустоту, так что становилось чего-то страшно. Страх этот ясно изображался на бледном лице того, который сидел на переднем сиденье первых саней и держал в руках высокий металлический крест: он, по временам, испуганно взглядывал на это тёмное, усеянное звёздами небо, на котором, среди других звёзд, неподвижно стояла страшная, хвостатая звезда, словно огненная метла, брошенная на небо хвостом на полдень, — и тихо шептал молитву.

Поезд двигался скоро, резко визжа полозьями по снегу. Возницы, сидевшие на передках саней, тихо, без слов, но торопливо подгоняли лошадей длинными бичами. Во всех санях виднелись чёрные клобуки — и весь этот ночной поезд с чёрными клобуками представлял что-то таинственное, загадочное.

— Что крест-от так дрожит у тебя в руках? — спросил вдруг тот, у которого на клобуке искрились драгоценные камни.

— Страховито видение сие, великий государь, — отвечал державший крест, указывая на комету.

— То знамение Божие — перст огненный, им

же Он, сый и грядый, судьбы мира пишет¹.

— К добру ли знамение то, великий государь?

— Судьбы Его кто исповесть? Может на врагов моих и сквернителей церкви российской указывает тот палец огненный, а может на меня.

Через дорогу, впереди саней, промелькнуло что-то серенькое и попрыгало по снегу к ближайшему перелеску.

— Стой, останови сани! — повелительно сказал последний голос. — Заяц перебежал дорогу... Лукав бес — ненавидит добро²... Поди, Иванушко, осени крестом дорогу.

Возница остановил коней. Остановился и весь поезд. Лошади встряхивались, гремя наборною сбруею. «Что случилось? Зачем стали?» — слышалось из прочих саней. — «Заяц передорожил».

Тот, кого называли Иванушкой, вылез из первых саней, держа перед собою высокий крест,

¹ Явления комет в древности наводили суеверный страх. Кометы считались предвестниками исторических событий бедственного характера.

² «У нас верят, что если заяц или белка перебежит дорогу, то ожидай неудачи или какого-нибудь несчастья». — Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., Современник, 1982, с. 155.

прошёл вперёд и, трижды осенив крестом дорогу, молча воротился на своё место.

Поезд снова двинулся. Опять завизжали полозья, звонко, резко, словно бы под ними кто-то вскрикивал от боли, жалуясь на холод. Снова безмолвно смотрели с неба чьи-то страшные очи да огненный палец — не палец, а целая горящая пятерня указывала на что-то далёкое, невидимое. Иногда лес заслонял собою горизонт и снежную, утопавшую во мраке равнину, и тогда казалось, что вдоль дороги, по сторонам, двигались какие-то тени в саванах, из-под которых простирались длинные руки, словно зачоченевшие от холода.

Время переходило уже за полночь, и в ночном воздухе слышалось что-то похожее не то на продолжительный, неумолкаемый стон, не то на далёкую протяжную и плачущую музыку. Сидевший в передних санях словно как бы вздрогнул и вытянулся, к чему-то прислушиваясь.

— Меня зовут... по мне встосковались храмы Божий, — радостно сказал он.

То слышался далёкий звон московских церквей к заутрени. Скоро близость Москвы стала сказываться всё яснее и яснее. Потянулись изгороди, заборы, боярские подгородные усадьбы. Чаще попадались обозы, гуськом тянувшиеся в город, к раннему базару.

У заставы поезд остановлен был окриком

сторожей: «Кто едет?»»

— Савина монастыря власти, — отвечали из первых саней.

— Подвысь! Вольно! С Богом!

И сторожа, при виде креста в санях, в недоумении сняли шапки и стали креститься.

Поезд с крестом проехал прямо в Кремль и остановился у Успенского собора. В соборе в это время шла заутреня. Служил ростовский митрополит Иона, временный блюститель патриаршего престола. Народу была полна церковь, так полна, что во время молитвенных возгласений иподиакона вся церковь представляла колышущуюся массу голов, которые, по-видимому, не вмещались в тесных стенах обширного храма и во всяком случае не могли делать истовые размашистые поклоны, как то требовалось обычаем. В спёртом от дыхания воздухе свечи, которых зажжены были целые леса, горели тускло, оплывали и чадили. Но при всём том в храме царствовала благоговейная тишина и только слышались сдержанные старческие покашливанья да вздохи сокрушённых сердец, а то и просто вздохи обычая — что так-де надоть, крепче будет. Над всем этим господствовал звонкий, грудной, хотя тоже, в силу обычая, для большей истовости несколько гнусивший голос псаломщика — митрополичьего поддьяка, высоко и шибко

забиравшего большею частью там, где не следовало. Читалась уже вторая кафизма. Голос чтеца гулко отдавался под сводами храма, как бы силясь вырваться на морозный воздух из этой душной, пропитанной восковым чадом атмосферы.

Вдруг у входных дверей послышался какой-то шум. Сделалось смятение. Все головы оборотились назад в ожидании чего-то непонятного. Входные двери загремели железными засовами, завизжали на петлях и тяжело растворились настезь. В церковь дымными клубами ворвался морозный воздух.

Что такое? Не царь ли идёт?... Голос псаломщика дрогнул; но чтение не прекращалось.

Стена молящихся насунулась вперёд и упёрлась о самый амвон. Те, которые занимали середину церкви, шарахнулись в стороны, как овцы, прижимаясь к стенам и колыхая паникадилами, которые чуть не попадали — да упасть было некуда — попадали только некоторые свечи.

Показались ряды монахов с заиндевевшими от мороза бородами. За монахами — высокий, блестящий золотом и самоцветными камнями крест. За крестом — высокая, коренастая, осанистая фигура в чёрном клобуке, на котором блестит и искрится отливающий всеми цветами радуги налобный крест. Лицо вошедшего за крестом — бледное, суровое, с выражением чего-то повелительного, непреклонного, скорее жёсткого и

отталкивающего: глаза, которые никогда, кажется, не смотрели нежно на ребёнка, губы, которые никогда, кажется, не знали поцелуя любви и ласки.

Все головы оборотились к нему, и все, казалось, замерло с испугу. Один поддьяк не прерывал чтения, хотя и его голос срывался и дрожал.

— Перестань читать! — раздался, как удар кнута, повелительный голос, который так часто когда-то слышали эти стены; а теперь и стены, казалось, дрогнули от испуга: так давно они не слышали этого знакомого, страшного голоса — более шести лет не слышали его.

Слова читавшего кафизмы замерли в горле, на полслове остановился, словно бы перед ним разверзлась бездна. А в этот момент откуда-то раздались стройные, плавные звуки, как будто бы они исходили из купола, в то время как страшный пришлец твёрдо и грузно вступал на патриаршее место.

— Исполла эти, деспота!

Это пели монахи, только что вошедшие в церковь. Потом запели — «Достойно есть...». Вся церковь окаменела от изумления; никто не молился; митрополит стоял бледный, потерянный — он не знал, что ему делать, не понимал, что же такое случилось, что вокруг него происходит.

Когда кончилось пение «достойно»,

протодиакон, стоявший в полном облачении, недвижим, как истукан, невольно поднял обёрнутую в орарь правую руку, которая дрожала.

— Говори ектенью! — второй раз прозвучал по церкви тот страшный голос, который всех приводил в трепет.

Протодиакон оторопел, заспешил было, сорвался с голоса, поправился, передохнул — и продолжал уже ровной, привычной октавой... «О свышнем мире и о спасении душ наших! О мире всего мира...»

А страшный пришлец, сойдя с патриаршего места, плавно, но твёрдо, словно вдавливая ноги в церковный каменный помост, стал ходить по церкви и прикладываться к образам и мощам. Народ со страхом расступался перед ним, боясь поднять глаза до его глаз, светившихся каким-то фосфорическим светом.

Окончив это, пришлец опять взошёл на патриаршее место, возглашая громко, медленно и сурово, как бы грозясь кому-то: «Владыко многомилостиве!..»

— Иди под благословение! — повелительно обратился он, тотчас после молитвы, к митрополиту Ионе, который продолжал стоять неподвижно, по-прежнему бледный, недоумевающий.

Иона повиновался — подошёл, склонив ниже обыкновенного седую голову в богатой митре. За

ним робко потянулось прочее духовенство. Пришлец порывисто шептал благословение и также порывисто крестил подходящих, словно ударял ладонью провинившийся пред ним воздух. Никто не глядел в глаза этому страшному пришельцу.

— Поди, возвести великому государю о моём пришествии, — сказал он митрополиту, окончив благословение.

Оторопелый митрополит ещё ниже наклонил голову, седые редкие косы его дрожали на плечах.

— Иди, — раздался повторительный возглас.

Иона пошёл, шатаясь и не поднимая головы. За ним торопливо последовал ключарь собора, Иов. Народ поспешно расступался перед ними, как бы боясь прикоснуться до их риз.

За духовенством, один за другим, тихо и робко ступая по мосту, стали всходить на патриаршее возвышение и прочие молящиеся. Пришлец благословлял всех, долго благословлял. Не одну тысячу раз сделала в воздухе крестное знамение жилистая рука его, а народ всё подступает, робко прижимаясь один к другому.

А время идёт... Пришлец нетерпеливо поглядывает на входные двери — никого нет... На лицо его всё более и более ложится какая-то зловещая тень... Глаза перестают глядеть на подходящий под благословение народ: они его не видят, а видят как будто что-то другое, никому

невидимое.

Церковные сторожа робко, словно бы украдкой и боясь взглянуть на пришельца, пробираются между народом с пучками, с целыми охапками свечей и, втыкая их во все свободные ячейки паникадил и между ячейками, по бортам, до бесконечности увеличивают это несметное множество блестящих огненных языков, чтобы ярче, до боли глаз, осветилась огромная храмина, словно бы желая ярким светом освещённого огня согнать с давно вдовствующего патриаршего трона это страшное, сидящее на нём привидение, о котором начали было уже забывать, как о заживо погребённом. И храмина осветилась ярко, зловеще; а привидение не исчезает; оно всё сидит на троне и автоматически машет рукою над робко склоняющимися головами молящихся. И лицо у привидения становится ещё зловещее: матовая бледность его переходит в какую-то зеленоватость, в серо-пепельность...

Вдруг входные двери с шумом растворились. Народ опять шархнул в разные стороны. — Не царь ли идёт? — Нет, не царь. — Показались бледные, смущённые лица митрополита Ионы, ключаря Иова, а за ними ещё четыре лица... Это бояре. Впереди всех сухая, высокая фигура с иконописным лицом и чёрненькими в мешках и складках глазами. Это Одоевский князь, Никита

Иванович, боярин и постник. За ним статная, осанистая фигура другого боярина с добрым лицом и добрыми глазами. Это боярин — князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Тут же и юркий молодой царедворец — Родион Стрешнев, и сухой, жёлтый, морщинистый, как пересохший пергамент, великий законник и воротило — дьяк Алмаз Иванов, измождённое лицо которого походило на полинялый от времени харатейный свиток³, а живые чёрные глаза на этой харатье представляли подобие двух свежих чернильных пятен.

Бояре прямо подошли к патриаршему месту. Пришлец сидел, как статуя, не двигаясь; только огромный наперстый крест с камнями изобличал, что грудь, на которой он покоился, дышала тяжело, порывисто: камни дрожали и сверкали разноцветными искрами.

Вся церковь замерла от ожидания. Одоевский, молча и не кланяясь, подошёл к пришельцу. Глаза их встретились. Глаза Одоевского потупились и спрятались под мешочками.

— Ты оставил патриарший престол самовольно, — сказал он хрипло, — обещался впредь в патриархах не быть, съехал жить в монастырь, о чём и написано уже ко вселенским

³ Хартейный свиток — древняя рукопись на пергаменте.

патриархам; а теперь ты для чего в Москву приехал и в соборную церковь вошёл без ведома великого государя и без совета всего освящённого собора? Ступай в монастырь по-прежнему.

Пришлец вздрогнул и поднялся во весь свой огромный рост. Одоевский невольно попятился назад. По церкви прошёл ропот испуга. Многие учащённо крестились.

— Сошёл я с престола никем не гоним, теперь пришёл на престол никем не зван для того, чтоб великий государь кровь утолил и мир учинил, а от суда вселенских патриархов я не бегаяю, и пришёл я на свой престол по явлению.

Пришлец проговорил это необыкновенно отчётливо и резко. Каждое слово он как будто гвоздём прибивал, и последняя фраза сказалась особенно резко.

— Ступай в свой монастырь! — вторично прохрипел князь Одоевский то, что ему приказано было сказать.

Пришлец понял, что это уже царский указ — «пошёл!» — и ни слова больше... Он пошарил что-то под панагиею и вынул оттуда запечатанный пакет.

— Вот письмо, отнесите его к великому государю, — сказал он, протягивая пакет и ни на кого не глядя.

— Ступай в монастырь! — автоматически

повторил Одоевский.

— Без ведома великого государя мы письма принять не смеем, — как-то испуганно заговорил дьяк Алмаз Иванов, причём харатейная кожа на его лице ещё более сморщилась: он вспомнил, что ещё не так давно его, думного дьяка Алмаза Иванова, да подьячего Гришку Котошихина велено было бить батоги нещадно за то, что они приняли одно такое письмо, не досмотрев, а в нём была прописка в титуле великого государя — опискою написано было «гусодаря», — после каких батогов, не стерпя побой, оный Гришка Котошихин бежал к свейскому королю за море⁴, а Алмаз Иванов харкал кровью.

⁴ Котошихин Григорий Карпович бежал за границу по другим причинам. Ещё в 1661 г., прикомандированный к посольству князя Прозоровского и Ордина-Нащокина для заключения Кардисского мира со Швецией, Котошихин вступил в тайную связь со шведским комиссаром Эберсом и за денежное вознаграждение передавал ему копии с русских секретных документов. В 1664 г. Котошихин послан для участия в переговорах с поляками. Сменивший Прозоровского и Ордина-Нащокина Ю. А. Долгорукий потребовал от Котошихина доноса на его предшественников. Не желая выполнить это требование и опасаясь мести Долгорукого, Котошихин бежал в Польшу, а затем — в Швецию, где он написал сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича».

— Без указа великого государя, его пресветлого царского величества, мы письма принять не смеем, — повторил этот великий законник.

— Пойдём, известим о сём великому государю, — добавил Юрий Долгорукий.

Посланные вышли. Церковь представляла теперь необыкновенное зрелище: служба была прервана; духовенство — соборные попы и протопопы, дьяконы, находившиеся перед тем в каком-то оцепенении, теперь ожили — бродили с клироса на клирос, с амвона в алтарь и по церкви, перешёптывались, иногда менялись улыбками и шушуканьем, кивали головами, свободно зевали и широко размётывали косы; сторожа украдкой, а иногда и явно пофукивали на паникадилы и притушивали излишне зажжённые из страха свечи; народ, всё время до пришествия посланцев теснившийся к патриаршему месту для благословения, теперь с робостью отхлынул от этого места и не знал, что ему делать. Казалось, в церкви был покойник, и словно бы все ждали, что вот-вот запоют — «помилуй раба твоего»... Тяжёлое ожидание!

И пришлец казался теперь не тем, чем был недавно: он сидел неподвижно, как статуя; ему уже некого было благословлять — и он молча перебирал чётки; бледное лицо его по временам

судорожно подёргивалось... Между тем время тянулось так долго. Давно зажжённые свечи догорали, и словно мрак какой-то спускался от купола всё ниже к полу. Становилось как-то сумрачно. То там, то здесь слышались вздохи, шёпот молитвы...

Наконец двери опять широко распахнулись — и всё вздрогнуло, засуетилось. Вошли прежние посланцы.

— Великий государь указал нам, холопам своим, объявить тебе прежде: чтобы ты шёл назад в Воскресенский монастырь, а письмо взять у тебя, — проговорил, как по заученному, Одоевский, подходя к патриаршему месту.

Пришлец снова выпрямился во весь свой рост и сделал шаг к Одоевскому и к прочим посланцам. Дьяк Алмаз Иванов попятился назад; но чернильные пятна-глаза его заискрились.

— Коли великому государю приезд мой ненадобен, то я поеду назад в монастырь, но не выйду из церкви, пока на письмо моё отповеди не будет, — сказал пришлец по-прежнему громко и отчётливо.

И он гордо, не как проситель, подал письмо. Дьяк Алмаз Иванов быстро нагнулся и взглянул на титул письма: он пуще смерти боялся прописки в титуле: это было одно из величайших и тягчайших государственных преступлений того времени.

Посланцы опять вышли, опять в церкви осталось то же слоняющееся без дела священство, те же ожидающие чего-то прихожане, та же неподвижная фигура на патриаршем месте, а рядом — высокий блестящий крест в руках ставрофора-крестоносителя.

После томительного ожидания в третий раз распахнулись входные двери собора. Теперь впереди посланцев от царя выступал смиренный Павел, митрополит Крутицкий; но из-за маски смирения лицо его светилось скрытым злорадством.

— Письмо твоё великому государю донесено, — начал он громко, обводя весь собор глазами, и остановился.

Все ждали, притаив дыхание. Митрополит начал.

— Он, великий государь, его пресветлое царское величество, власти и бояре письмо выслушали, — продолжал он и снова остановился.

Все ждали опять, ждали ещё с более напряжённым вниманием. Послышался где-то стон. С висячего паникадила упала свечка, проведя в воздухе огненную полосу, словно падучая звезда, и погасла. — «Ох!» — послышался чей-то испуганный голос.

— И ты, патриарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский монастырь по-прежнему, — закончил Крутицкий митрополит.

Это был жестокий приговор. Пришлец пошатнулся было назад, но тотчас же оправился, только лицо его позеленело. Он молча сошёл с патриаршего места, медленно приложился к образам, взял посох митрополита Петра — этот исторический посох московских святителей⁵ — и направился к выходу между двумя стенами безмолвных зрителей, которых он, не поднимая глаз, благословлял обеими руками.

— Оставь посох! — говорил Одоевский, поспешая за ним.

— Оставь посох! — повторили прочие бояре.

— Отнимите силою! — не глядя на них, отвечал пришлец и вышел из собора.

Впереди по-прежнему несли крест. Ночь была на исходе. На небе всё ещё стояла огненная метла, только хвостом уже на запад. Народ повалил из собора.

Пришлец, садясь в сани, стал отрясать ноги, громко говоря евангельские слова:

— Иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилепший к ногама вашему,

⁵ Пётр, утверждённый в 1305 г. митрополитом всея Руси, впервые обосновался в Москве, поддерживал Юрия Долгорукого и Ивана Калиту, в борьбе за объединение русской земли вокруг Москвы.

отрясите во свидетельство на ня!

— Мы этот прах подметём! — дерзко отвечал стрелецкий полковник, наряженный провожать пришельца, как арестанта. — Подметём-ста!

— Да разметёт Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи! — сказал ему пришлец и указал на комету.

— Ох, Господи, спаси нас, помилуй! — слышался испуганный крик в народе.

Поезд двинулся в обратный путь. Народ повалил за поездом. Из дворца прискакали — окольный князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий и любимец царский Артамон Сергеевич Матвеев, и следовали за поездом.

Странный вид представляло это шествие в ночной темноте, при только что занимавшейся заре. За поездом теснились толпы, опережая его и производя необыкновенный гул и ропот: стук тысяч ног об замерзшую землю, скрип саней, карканье проснувшихся галок и воронья и смутное рокотанье голосов сливалось в какой-то невообразимый хаос. В разных местах города звонили колокола, как бы прощаясь с уезжающими.

Пришлец, тот, который произвёл всё это волнение, сидел в первых санях и как-то странно глядел на стоявший перед ним крест... «Порвалась... порвалась последняя нитка», — шептали бледные губы.

За земляным городом поезд остановился. Долгорукий сошёл с коня и приблизился к первым саням, сняв свою высокую боярскую шапку.

— Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословение и прощение просить, — сказал он, почтительно нагибая голову.

— Бог его простит, коли не от него смута, — отвечал сидевший в первых санях.

— Какая смута? — удивлённо спросил Долгорукий.

— Я не своей волей приезжал — по вести, — был ответ.

Поезд снова двинулся в путь сквозь густую толпу народа. На колокольне Ивана Великого загорался золотой крест, — всходило солнце.

Глава II. ПОСОХ МИТРОПОЛИТА ПЕТРА

Так неудачно кончилась попытка Никона (это был он) — попытка к примирению с царём Алексеем Михайловичем. «Тишайший» первый раз в жизни оказался непреклонным.

За шесть лет до начала настоящего повествования, летом 1658 года, в Москву приехал грузинский царевич Теймураз. По этому случаю у царя был большой обед. Приглашена была к столу вся московская знать, не был приглашён один Никон, великий святитель и патриарх, — Никон,

который за столом царя занимал обыкновенно первое место. Это было для него прямым ударом в сердце: «тишайший» царь, называвший Никона «собинным» другом своим, не решавшийся без его благословения ни на какое государственное дело, именовавший его не иначе, как «владыкою святым», «великим святителем», «равноапостольным богомольцем», своим «преосвященным главою», повелевавший ему писаться в указах царских рядом с царём и тоже называться «великим государем», — царь вдруг охладевает к своему любимцу и даже не приглашает к столу. Задетый за живое, Никон посылает своего боярина, одного князя, во дворец — за каким-то церковным делом или просто высмотреть, что там делается. В это время царевич Теймураз ехал во дворец. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово очищал ему путь, колотя, по московскому обычаю, палкою в лоб каждого, кто высовывался из толпы. Один из таких ударов попал в голову посланца Никона.

— Не дерись, Богдан Матвеич! — закричал посланец, хватаясь за голову. — Вить я не просто сюда пришёл, а с делом.

— Ты кто такой? — спросил окольничий.

— Патриарший человек — с делом послан.

— Не дорожись! — закричал Хитрово и снова ударил патриаршего посланца дубиной по лбу.

Тот с плачем бросился к Никону. Никон написал царю, прося «розыскать дело» и наказать Хитрово. Царь тотчас отвечал собственноручно: «Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду».

Но прошёл день, другой — ни розыска, ни свиданья.

Подоспел праздник Казанской Богородицы — большой праздник, с крестным ходом всего освящённого собора. А царь — такой богомолец, такой любитель церковной обрядности и всего священного благолепия. Накануне праздника Никон, по обыкновению, посылает попа доложить царю, что святейший патриарх шествует в церковь. От царя — ни ответа, ни привета. У обедни — опять нет царя! Это так не похоже на него... И праздник не в праздник... Через два дня опять большой праздник — праздник ризы Господней, Никон опять шлёт к царю с вестями — и опять нет царя! Вместо него является к патриарху царский спальник, князь Юрий Ромодановский — такой хмурый, торжественный... Что бы это значило?!

— Царское величество на тебя гневен, оттого не пришёл к заутрени и повелел не ждать его и к святой литургии.

Вот какую громовую весть принёс Ромодановский — было отчего смутиться. Но Никон не смутился — он знал «тишайшего», своего «собинного» друга.

— За что его царское величество на меня гневен? — спросил он.

— Ты пренебрёг его царским величеством, — пишешься великим государем; а у нас один великий государь — царь!

— Называюсь я великим государем не собою. Так восхотел и повелел его царское величество, — свидетельствуют грамоты, писанные его рукою.

— Царское величество почтил тебя яко отца и пастыря, и ты этого не уразумел. А ныне царское величество велел тебе сказать: отныне не пишишь и не называйся великим государем, почитать тебя впредь не будет^б.

Что после этого оставалось делать? Или сломить, или самому сломиться. Но не такая это была воля, чтобы сломиться.

По уходе Ромодановского Никон не долго думал. В нём тотчас созрело решение. «Кину патриарший престол вдовым — напугаю, сломялю всех... Кроткий и богобоязненный царь испугается...» Он сказал об этом своему дьяку. Дьяк стал уговаривать. Напрасно! Патриарх был

^б Никон хотел основать в России «частный национальный папизм» и подчинить себе власть царскую. Патриарх, по мнению Никона, есть образ самого Христа, а потому он обладает высшей законодательной властью в государстве.

непреклонен. Дьяк кинулся к другу Никона, боярину Зюзину. Тот велел умолять патриарха — не делать этого, не гневить царя: «последе захочешь воротиться, да поздно будет». Упрямый гордец задумался было — стал даже писать царю; но прилив злобы всё испортил...

— Иду! — тряхнул он своею чёрною гривую и в клочки изодрал написанное... — Купите мне простую палку, какие попы носят...

И он отправился в Успенский собор.

Энергиею и силою звучал его металлический голос во время службы — никогда он не служил так хорошо, величественно; руки его, сжимая золотые свещницы с горящими свечами, казалось, благословляли этим светом весь мир. Когда хор возглашал: «исполла эти, деспота!» — величественное лицо его, казалось, говорило: «кто против меня, тот против Бога и церкви!»

После причастия он велел ключарю поставить у выходов сторожей, не пускать народ из храма: «поучение-де будет».

И вот великий патриарх вышел на амвон — лицо какое-то необыкновенное, не его лицо!

«Буди имя Господне!» — загремел хор.

Народ понадвинулся к амвону. Тысячи глаз смотрели в лицо проповеднику.

— Ленив я был вас учить, — раздались слова с амвона, — не стало меня на это... От лени я

окоростовел, и вы, видя моё к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх; а если помыслю быть патриархом, то буду анафема. Как ходил я с царевичем Алексием Алексиевичем в Колязин монастырь, и в то время на Москве многие люди к Лобному месту собирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. А я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образом надо верить и поклоняться (и он указал на образ Спасов в иконостас). А я не иконоборец. И после того называли меня еретиком — новые-де книги завёл! И всё это учинилось ради грех моих. Я вам предлагал многое поучение и свидетельство вселенских патриархов, и вы, в окаменении сердец ваших, хотели меня камением побить; но Христос нас единожды кровию искупил, — а коли меня вам камением побить, и мне никого кровию своею не избавить, и чем вам камением меня побить и еретиком называть, так лучше я вам от сего времени не буду патриарх. Аминь.

Как громом поразили эти слова весь собор. Недоумевающие, смущённые, оторопевшие, испуганные, все стояли точно окаменелые и с каким-то ужасом как бы искали понять, кто же тут виноват во всём этом, где те преступники, которые

вызвали страшное проклятие на весь собор, на всю эту массу молящихся, верующих, чего-то чающих, где они, эти изверги, где виновные в том, что вот-вот сейчас гром небесный разразится над храмом... Послышались всхлипыванья, стоны; женщины громко плакали... «Матушки! святители! что ж это будет с нами!.. ох!..»

— Батюшка! кормилец! кому же ты нас сирых оставляешь? — голосили бабы и боярыни в истошный голос. — Кому, батюшка наш? о-о-о!

— Кого вам Бог даст и Пресвятая Богородица изволит, — отвечал Никон.

Его стали разоблачать. Казалось, что это раздевают покойника. А вон и саван несут — это мешок с простым монашеским платьем. Что ж это такое будет?

Толпа не выдержала — бросилась к послушникам и отняла у них мешок. Толпа превращалась в зверя: как она в другое время побила бы камнями этого самого Никона, так теперь за него она готова была растерзать всех.

Никон не мог послушаться толпы и ушёл в алтарь. Там он потребовал бумаги и чернил. Нагнувшись к престолу, он, стоя, начал чертить пером по бумаге. Рука его дрожала; перо не попадало в чернильницу. Он сам повторял за собою то, что чертила его рука на бумаге... Это было письмо к царю... «Отхожу ради гнева твоего,

исполняя писание: дадите место гневу... И паки: егда изженут вас от сего града, бежите во ин град, и еже аще не примуть вас, грядуще отрясите прах от ногу вашею...»

— Отрясу... отрясу, — бормотал он, когда, тотчас после этого, на него стали надевать простую мантию с «источниками» и чёрный клобук. — Бегу во ин град, бегу в пустыню...

Взяв в руки простую палку, он быстро вышел из алтаря и направился было к выходным дверям. Что-то страшное и в то же время обаятельное было во всей его фигуре. Сначала было все шарахнулись от него с испугу в сторону, но потом задние бросились к дверям и заслонили их собою.

— Не пустим! не пустим! — застонала толпа. Женщины истерически рыдали, валяясь в ногах у упрянца и целуя его ризы, ноги, палку... Выпустили только Крутицкого митрополита Питирима, который поспешил во дворец доложить царю о том, что происходило в соборе.

Царь был поражён, как громом, неожиданной вестью... «Точно сплю с открытыми глазами и всё это вижу во сне», — бормотал он, хватаясь за голову и беспомощно озираясь. Глаза его упали на стоявшего тут же князя Трубецкого, Алексея Никитича, великого стратига московского⁷.

⁷ Трубецкой Алексей Никитич (ум. в 1680 г.) —

— Иди, Алексей, образумь его, скажи: я жалую его, не гоню... рад ему... Ох, Господи!

Трубецкой явился в собор. Никон сидел на нижней ступени патриаршего места, чертя в задумчивости посохом по церковному помосту. Трубецкой подошёл к нему под благословение.

— Прошло моё благословение, недостоин я быть в патриархах, — сказал Никон, не давая Трубецкому благословения. — Недостоин.

— Какое твоё недостойнство? Что ты сделал? — спросил недоумевающий Трубецкой.

— Если тебе надобно, то я стану тебе каяться, — с горькою ирониею отвечал патриарх. — Всему собору, всем православным христианам буду каяться.

В толпе послышался ропот. Трубецкой смутился.

— Это не моё дело, не кайся, — бормотал он, — скажи только, зачем бежишь, престол свой оставляешь? Живи, не оставляй престола! Великий государь наш тебя милует и рад тебе.

Никон вынул из-под мантии клоч бумаги, что сейчас исписал за престолом, и подал Трубецкому.

— Поднеси это государю... Попроси царское

замечательный дипломат эпохи XVII в., сыгравший большую роль в деле воссоединения Украины с Россией. Талантливый военачальник.

величество, чтоб пожаловал мне келью.

Трубецкой ушёл. Патриарх, несмотря на свою железную волю, озирался растерянно, видимо не находя себе места: то садился на нижней ступени патриаршего места, как бы униженно припадая к ногам обезумевшей от изумления толпы, то вставал и порывался к дверям. Но народ с плачем не пускал его, падая перед ним ниц или простирая к нему руки. Картина была потрясающая. Женщины то рыдали, сбившись в кучу, как овцы в зной, то ползали у ног упрянца, стучаясь головами о каменный церковный помост.

Не выдержал и патриарх — заплакал: беспомощно опустившись на нижнюю ступень своего седалища, он припал лицом к ладони и тихо, беззвучно рыдал.

Это уже было выше меры. Церковь вся огласилась рыданиями. Даже сторожа, забившись по углам, плакали.

Но снова явился Трубецкой и, отдавая Никону назад письмо его, сказал: «Великий государь указал тебе сказать, чтоб ты патриаршества не оставлял, а келий-де на патриаршем дворе много».

— Уже я слова своего не переменю, — сказал патриарх и вышел из собора.

Теперь уж его никто не останавливал. Народ чувствовал, что вместе с патриархом и ему нанесена обида... Стоит ли-де настаивать после

этого!

Но, когда Никон хотел сесть в карету, народ бросился на неё и выпряг лошадей. Никон пошёл пешком чрез Кремль — народ за ним. Патриарх хотел уйти Спасскими воротами — народ запер ворота. Тогда Никон сел в нишу под воротами, в «печуру». Народ запрудил всю эту половину Кремля, и только посланные из дворца бояре могли заставить народ выпустить своего пленника.

Опальный патриарх пошёл пешком до своего подворья, на Ильинку, а народ, провожая его, плакал словно по покойнику.

.....

Всё это вспомнил теперь Никон, возвращаясь в свой Воскресенский монастырь из Москвы, куда он попытался было, но так неудачно, снова воротиться из своего добровольного, а теперь невольного изгнания. Тяжело было у него на душе. Да и как переменилось всё в эти долгие, мучительно однообразные шесть лет изгнания? Тогда, оскорблённый и униженный, он ехал в изгнание всё-таки полный надежд, что его скоро воротят, попросят назад, и торжество его будет полное. Теперь он возвращался, полный мрачной безнадёжности и тоски: мало того, что теперь его выгнали как собаку — впереди ещё ждёт его суд

вселенских патриархов ⁸. «О! наёмники!» — невольно вырвалось у него слово — и он оглянулся назад. Сани его катились по той же однообразной снежной равнине, по которой он, несколько часов тому назад, ночью, ехал с тайною надеждою на победу... Нет, не победа ждала его, а глубокое посрамление...

И он снова мыслью переносился в прошлое. Тогда, шесть лет назад, эти поля покрыты были зеленью; теперь — кругом саван белый — глазам больно от этого снежного моря...

Вспоминалась ему вся его горькая, одинокая жизнь в монастыре и та светлая, полная торжества, власти и славы жизнь, когда он ещё не покидал патриаршего престола. Припомнилась и последняя, прошлогодняя схватка с Паисием Лигаридом ⁹ и другими посланцами царя... Пришли они к нему в келью целым сонмищем, а впереди всех этот грек-бродяга, Паисий... Не вытерпело сердце буйного патриарха, и он ринулся вепрем на бедного гречина.

«Вор! нехристь! собака! самоставник!

⁸ В 1664 г. Алексей Михайлович решил пригласить вселенских патриархов в Москву для суда над Никоном.

⁹ Паисий Лигарид (1610–1678) — митрополит газский.

мужик! — закричал он, стуча об пол посохом. — Давно ли на тебе архиерейское одеяние? Есть ли у тебя ко мне грамоты от вселенских патриархов? Тебе не впервой тыкаться по государствам да мутить. У нас того же захотел!»

Но увёртливый Одиссей не смутился.

— Отвечай мне по-евангельски, — мягко сказал Паисий по-латыни, — проклинал ли ты царя?

— Я служу за царя молебны, — накинулся на него Никон, когда ему перевели слова Паисия. — А ты зачем говоришь со мною на проклятом латинском языке?

— Языки не прокляты, — отвечал Паисий, — огненный дух сошёл в виде языков. Я же говорю с тобою по-еллински, потому что ты невежда и не понимаешь этого золотого языка.

А тут некстати вмешался Иосиф, архиепископ астраханский¹⁰.

— И ты туда же! — крикнул на него Никон. — А помнишь ли, бедный, своё обещание? Обещался ты и царя не слушать, а теперь суёшься! Али тебе, бедному, дали что-нибудь? Я ни слушать

¹⁰ Иосиф (1598–1671) — митрополит астраханский и терский. Убит казаками Васки Уса, оставленного в Астрахани Стенькою Разиным.

тебя, ни говорить с тобою не стану.

— А для чего ты, — вмешался в спор Одоевский, — для чего на молебнах жалованную государеву грамоту приносил, под крест клал и под образ Богородицы, читать её приказывал и из псалмов клятвенные слова говорил?

— Я на литургии, после заамвонной молитвы, со всем собором молебен служил, государеву грамоту прочитать велел, под крест и под образ Богородицы клал, а клятву износил на обидающего мя, на Ромашку Боборыкина, а не на великого государя.

Те не верили, настаивали на своём. Никон не вынес больше и закричал:

— А хотя бы я и к лицу великого государя клятву износил — так что ж? Я за такие обиды и теперь стану молиться: приложи, Господи, зла славным земли!

А потом, обратившись к Иосифу, спросил:

— Какой-то у вас теперь там на Москве собор, и кто приказывал его вам открывать?

Иосиф отвечал:

— Этот собор созван по указу великого государя ради твоего неистовства; а тебе до этого дела нет: ты своё достоинство патриаршеское оставил.

— Я своего достоинства патриаршеского не оставлял.

— Как не оставлял? — Ему показали письмо. — А это разве не твоё письмо, где ты пишешь, что не возвратишься на патриаршество, как пёс на свою блевотину? Разве не сам ты писался бывшим патриархом? И после этого годится ли тебе называться патриархом?

— Я и теперь государю не патриарх! — загремел упрямец.

— А по самовольному с патриаршего престола удалению и по нынешним неистовствам твоим ты и нам всем не патриарх... Достоин ты за свои неистовства ссылки и подначальства крепкого, потому что великому государю делаешь многие досады и в мире смуту.

Тут уже Никон окончательно вышел из себя и закричал не своим голосом:

— Вы пришли на меня, как жида на Христа...

Всё это припомнилось теперь несчастному. А впереди ещё этот вселенский суд, а там, верно, вечная ссылка и вечное — до самого гроба — забвение...

Было уже далеко за полдень, когда поезд изгнанного из Москвы патриарха добрался до села Чернева. Лошади, не кормленные всю ночь и более половины дня, притомились. Свита Никона, тоже постившаяся и глаз не сомкнувшая со вчерашнего дня, изнемогла и отоцала. Иван Шушера, ставрофор патриарха, постоянно державший перед

ним крест, падал от утомления и того и гляди мог уронить и самый крест. Сам Никон, казалось, постарел за эту ужасную ночь на десять лет: он, постоянно прямой и твёрдый, как-то осунулся и сидел сгорбившись. Шушера, вглядываясь в его посеребрённую инеем бороду, с ужасом замечал, что в ней начинает серебриться и другой, не морозный иней — иней седины, старости, дряхлости.

Решено было остановиться в селе Черневе — покормить лошадей и самим отдохнуть. Въехали в подворье. Молча, поддерживаемый монахами, Никон вышел из саней и вошёл в избу. Почти всё время, пока оставались в Черневе, он сидел неподвижно, в глубокой задумчивости. Из этой задумчивости он был выведен скрипом подъехавших к подворью саней и знакомыми голосами. Он встрепенулся, по лицу и по глазам его прошёл какой-то свет. Он узнал звонкий голос Родиона Стрешнева и сухой кашель дьяка Алмаза Иванова. Что-то вроде надежды блеснуло в чёрных глазах изгнанника.

В избу вошли Павел, митрополит Крутицкий, Иоаким, архимандрит Чудовский ¹¹, Родион

¹¹ Павел посвящён в митрополиты в 1664 г.; во время служения в митрополичьем сане трижды был местоблюстителем патриаршего престола. Человек

Стрешнев и Алмаз Иванов.

— Великий государь приказал спросить у тебя, по какой вести приезжал ты в Москву, и взять у тебя посох Петра митрополита, — сказал Стрешнев, став посреди избы.

— Приезжал я в Москву не своею волею: по вести из Москвы, — отвечал Никон по-прежнему гордо, — посоха не отдам... отдать мне посох некому.

Митрополит Крутицкий хотел что-то сказать, но Никон не дал ему рта разинуть.

— Тебя я знал в попах, а в митрополитах не знаю! — крикнул он на него. — Кто тебя в митрополиты поставил — не ведаю да и знать не хочу. Посоха тебе не отдам, потому что не у кого, кроме меня, посоху быть. А кто ко мне весть прислал — вот письмо.

И он подал Алмазу Иванову исписанный листок бумаги, хранившийся у него на груди под мантиею. Алмаз Иванов быстро поднёс листок к своему пергаментному лицу, пробежал его своими мышинными глазками, словно нюхая, чем пахнут

образованный, близкий друг Симеона Полоцкого,

Иоаким (1620–1690) — из рода можайских дворян Савеловых; в 1664 г. стал архимандритом Чудова монастыря. Добился неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. Вёл решительную борьбу с расколом.

чернила, и, пробормотав успокоительным голосом — «от Зюзина от Микитки», — сунул его к себе за пазуху.

Никону доложили, что лошади уже запряжены — пора ехать. Не оборачиваясь к царским посланцам, он вышел из избы на крыльцо. Был уже вечер. Звёзды, как и вчера, горели ярко, и длинный хвост кометы стоял на синеве неба прямо, словно огненная метла, поднятая невидимою рукою.

Посланцы вышли за патриархом. Когда Никон, поддерживаемый монахами, садился уже в сани, к нему подошёл Крутицкий митрополит.

— Отдай посох, — сказал он настойчиво.

— Не тебе ли, худоглавый! — огрызнулся на него упрямец.

— Не мне, а великому государю.

— Через твои-то коростовые руки!

Ошпаренный митрополит не знал, что отвечать.

— На! — обратился упрямец к близ стоявшему монаху, подавая ему посох. — Отвези великому государю... А мой посох вон! (Он указал на комету.) Я с ним пойду по земле и всю российскую землю вымету начисто...

Он сделал знак рукою, и поезд двинулся в путь.

Глава III. АВВАКУМ В ЦАРИЦЫНЫХ

ПАЛАТАХ

В этот самый вечер, когда Никон, уезжая из села Чернева в ссылку, грозился, что вместо посоха Петра митрополита возьмёт в руки божественную метлу — комету — и ею выметет русскую землю, — в это время в Москве, во дворце, на половине царицы Марии Ильиничны¹², рядом с царицыною мастерскою палатою, в покоях ближних боярынь Феодосьи Прокопьевны Морозовой и княгини Авдотьи Прокопьевны Урусовой, которые были родные дочери Прокопья Фёдоровича Соковнина, ведавшего царицыну мастерскую палату, находился редкий гость — мужчина. По тому времени на женскую половину допускались весьма немногие мужчины — ближайшие родные, духовники, святоши да юродивые.

Гость, сидевший в покоях Морозовой и Урусовой, был поп, судя по его одеянию и наружности. Это был высокий, широкоплечий мужчина с длинною апостольскою седою бородою и такими же седыми курчавыми волосами, с

¹² Марья Ильинична (урожд. Милославская) — первая супруга царя Алексея Михайловича, Отличалась благотворительностью.

длинным, тонким, красиво очерченным носом, с серыми большого разреза и длинными глазами и низеньким лбом, на который красиво падали седые кудерьки, — точь-в-точь святительский лик, какие можно видеть на старинных иконах суздальского письма. Серые, с длинным разрезом и длинными ресницами глаза смотрели ласково и по временам зажигались прекрасным, каким-то согревающим светом. Это были совсем отроческие глаза под седыми бровями.

Боярыни, у которых этот бросающийся в глаза старик сидел в гостях, смотрели ещё совсем молоденькими. Они были одеты совсем одинаково: в чёрные, с малиновыми по переду и по подолу разводами, сарафаны и в тёмно-малиновые с золотыми разводами душегреи. И лицом они походили одна на другую, только старшая из них на вид была покруглее лицом и всеми формами: немножко вздёрнутые кверху носики, большие, голубые, с наивно-детским выражением глаза и круглые подбородки с ямочками — всё это было одного пошиба и смотрело одинаково мягко и симпатично.

Они сидели у покрытого ковром стола, на котором находился большой серебряный поднос, а на нём рассыпан жемчуг и разноцветный бисер. Они усердно подбирали жемчуг и бисер, по временам как бы замирали, слушая своего гостя и

поднимая на него от работы изумлённые, нередко испуганные глаза, и снова наклонялись над работой. Тут же стояла у стола маленькая, лет девяти-десяти, белокуренькая девочка и, торопливо выбирая с блюда самые крупные жемчужины, нанизывала их на красную нитку. Она часто смотрела на седого гостя своими большими удивлёнными глазами, как бы не веря тому, что тот рассказывал, и, роняя иногда жемчужину на блюдо, нетерпеливо топала ножкой.

— И как я, светики мои миленькие, подал эти выписки о сложении перстов, меня и велел схватить оный Никонишко, — монотонно говорил седой гость, поглаживая свою бороду. — Взяли меня, светики мои, от всенощной, прямо из церкви, а со мной захватили и стрельцов человек до шестидесяти. Их-то, детушек моих, в тюрьму отвели, а меня на патриархов двор на цепь посадили на ночь, яко медведя. Когда же рассветало, посадили меня на телегу, растянули руки, точно распяли, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на цепи, что собаку, кинули в тёмную-претёмную палатку — вся в землю ушла, сыра и холодна, как могила. И сидел я там, светики мои, три дня, во тьме кромешной, не ел, не пил, да и не давали ничего. И сидя там, я молился на цепи и кланялся с цепью — не знаю на восток, не знаю на запад поклоны клал... а цепь-то

звенит, цепь-то плачет ко Господу! Никто ко мне туда не приходил, токмо мыши да чёрные тараканы, да сверчки и день, и ночь кричат. И в третий день приалчен я бысть, сиречь есть захотел, отошал, — и оле чудо! — стало предо мною не вем ангел, не вем человек и по сие время не знаю, ста предо мною в потёмках, молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с цепью к лавке подвёл, посадил, ложку в руки дал, хлебца немножко и щец дал похлебать — зело превкусны хороши, и рек ми: «полно! довлеет ти ко укреплению». Да и не стало его: двери не отворялись, а его не стало. Дивно только — человек ли то, али ангел? Ино нечему дивиться, ангелу везде не загорожено. То-то ночка была!.. Наутро архимандрит с братиею пришли и вывели меня из темницы: журят мне, что патриарху не покорился; а я, светики мои, от писания браню его да лаю. А там поволокли меня в церковь и в церкви-то за волосы драли, под бока пинками толкали, за цепь трогали и в глаза плевали... А я, светики мои, радуюсь: как клок-от волос выдерут, а я думаю себе: «венец-де нетленный плетут мне»; а цепь звенит — то райские птички поют: таково-то сладко на душе было!

Он остановился, как бы припоминая что. Слушательницы тихо позвякивали жемчугом, боясь проронить слово.

— В ту пору, светики мои, — продолжал гость, — взяли и Логина, протопопа муромского. В

соборе, при самом государе, остриг его Никон в обедню — то-то знатную цирульню из храма сделал! Во время переноса оный цирульник Никон снял с головы у архидиакона дискос¹³ и поставил на престол с телом Христовым и с чашею. А когда остригли Логина, то содрали с него и однорядку, и кафтан — точно разбойники! Логин же разжётся ревностью божественного огня, шибко, на весь собор, порицал Никона и через порог в алтарь в глаза ему плевал; а потом, распоясався, и рубашку с себя сдёрнул да голый, в чём мать родила, портками прикрывшись, ту рубашку в алтарь в глаза Никону бросил... И чудно! растопоряся рубашка, и покрыла на престоле дискос, будто воздух... И в ту пору, светики мои, и царица в церкви была...

— В ту пору, батюшка, и я с царицей была там, — тихо сказала княгиня Урусова, вся красная, не поднимая головы.

— Была, миленькая, и чудо видела? — встрепенулся гость.

— Нет, я тогда горько плакала, за слезами ничего не видала.

— Жаль, жаль... Так вот, светики мои, остригши Логина, возложили на него цепь

¹³ Дискос — блюдо со священными изображениями, употребляемое при обряде причастия.

тяжёлую, лошадиную и, таща из церкви, били мётлами и шелепами до самого Богоявленского монастыря, а народу-то, народу-то что на улице!

И кинули его там в палатку, в темницу, и стражу поставили. И что же бы вы думали! В ту ночь Бог ему шубу новую да шапку дал...

— Бог шапку и шубу дал? — встрепелась белокуренькая девочка, подходя к старику и глядя своими большими изумлёнными глазами в его глаза.

— Дал, миленькая царевна, Софей-премудрость Божия! — ласково сказал старик, любуясь девочкой. — У Бога всё возможно... Вон, когда наутро и Никонишке рассказали об этом, так он, рассмеявсь, аки пьяница на кружечном дворе, сказал: «Знаю, су, я пустосвятов тех!» — и шапку у него отнял, а шубу оставил прикрытия наготы ради.

— А в Сибири, отец, тяжело было жить? — спросила Морозова.

— И тяжело, и сладко, миленькая моя... Исходил я всю её, студёную-то сторонку сибирскую. Был и в Тобольске, и в Енисейске, и везде-то за мной по пятам шла злоба Никонова. Мало ему было Енисейска, велел послать меня в Даурию с енисейским воеводою Афанасьем Пашковым. Уж и лют же был до меня оный Пашков, да Бог ему, Афанасью, простит. Вышли мы

из Енисейска с полком казаков, в шестистах, водою, на дощениках. Уж и натерпелись же мы там: не один ковш горя выпили и не одно ведро слёз пролили. Однажды ехали мы по большой Тунгуске-реке, и в ту пору встала буря, и погрузило бурю в воду дощеник мой — совсем налился среди реки полон воды и парус изорвало; остались над водою одни палубы, а то всё в воду ушло. Жена моя на палубы из воды деток-ребятков кое-как повытаскивала, мечется простоволосая, а я, на небо глядя, кричу: «Господи, спаси! Господи, помози!» А Бог-от молитву людскую слышит и козявочку маленькую под листочком видит и бережёт, — и ухо Его святое везде, и рука его благая повсюду... И волею Божиею прибило нас к берегу; Бог берег меня, свою козявку бедную. Бог берег, так Пашков, в угоду Никону, души моей искал. Взлютовал он на меня крепко, стал из дощеника выбивать: «для-де тебя дощеник худо идёт, еретик-де ты, поди-де по горам, а с нами не ходи». Страх меня оковал тут: горы высоки до небес; дебри непроходимые; утёс каменный, яко стена стоит, а поглядеть на него, заломя голову, так шапка валится... А в горах тех змии великие живут... И чего-то там нет! А всё не так, как у нас на Руси: там и гуси, и утицы-перие красное, и вороны серые и галки чёрные; там и орлы невиданные, и соколы дивные, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие,

многое множество, птицы разные. А зверей-то там — и числа, и имени им нету: козы дикие, и олени с оленцами малыми бегают, и зубры велие, и лоси, и кабаны — клыком зубра прошибают, и волки, и бараны дикие воочию бродят, а взять нельзя. На те-то горы выбивал меня Афанасий, со зверьми рыскать, да со птицами витать. Так я ему малое писаньице написал. «Человече! — говорю, — убойся Бога, сидящего на херувимах и взирающего на бездны, его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеки, — един ты презираешь Его...» Послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят казаков: взяли мой дощеник и помчали к нему: а я казакам каши наварил да кормлю их; а они, бедные, и едят, и дрожат, а иные, глядя на меня, плачут — жалко им меня. Привели дощеник. Взяли меня палачи, привели пред него. Он со шпагою стоит и дрожит весь от злобы. «Поп ты или распоп?» — кричит. — «Аз есмь Аввакум, говорю, протопоп». Он же рыкнул, яко зверь дикий, и ударил меня по щеке, да по другой, да в голову, и сбил меня с ног, да, ухватя цепь, лежачего по спине, а потом, раздевши что липку, по той же спине семьдесят два раза. А я под кнутом-то молюсь: «Господи! помогай мне». А ему горько и досадно, что не говорю: «пощади». Стащили меня потом еле жива, в казённый дощеник, сковали и руки и ноги и на беть кинули. Осень в ту пору стояла глубокая;

дождь на меня лил всю ночь, — под капелью лежал хуже пса... Как били кнутом-то, так не больно было с молитвою-то; а тут, лёжа под дождём, заплакал до Бога. Да и как было не плакать! Все кости-то щемью щемят; жилы-те клещами тянут; всё сердце во мне с телом издрожалось, и я помирать стал... Увидали это казаки, плеснули мне в рот водицы — ожил, отошёл... Наутро кинули меня в лодку и везли дальше. Привезли к порогу Падуны — страшен тот порог, зело крут; гребень во всю реку, — только воротца малыя: что в воротца не попало, ино в щепы растрошит и разметет. Привезли меня под порог; со всего неба, кажись, дождь и снег собрался на меня, а у меня на плечах один кафтанишко; льёт вода и по спине, и по брюху, — углебоша воды до души моей... О! таково нужно было... Привезли потом меня в Братский острог и в тюрьму кинули, — благо соломки дали. В те поры там зима злая живёт, — а меня Бог и без платья грел: что собачка на соломке лежу, о далёкой Москве вспоминаю; коли накормят, коли нет, лежу да думаю... А тут эти мыши покою не дают, и я их, бывало, скуфьёю бил — и батожка мне дурачки не дали... Всё на брюхе лежал; спина гнила, — да что о том вспоминать!

А молодые боярыни, по-видимому, всё усерднее и усерднее работали над своими жемчугами, только подчас выступавшие на щеках

пунцовые пятна да дрогнувшая рука обнаруживали их внутреннее волнение. Маленькая царевна Софьюшка также вся превратилась в слух.

— На весну паки поехали вперед; всё дале и дале, — к самому, кажись, концу света, — продолжал, немного помолчав, гость. — Дорогой всё испроели и совсем обносились, — мало душу не износили в лохмотья. И вдругорядь тонул я на Байкалове море, только Бог вынес из пучины морской. А море-то, миленькие мои, у какое свирепое было!словно звери седые да косматые ходили по нём да рыкали. А после Байкалова моря по Шилке шли: тут Пашков заставил меня лямку тянуть. Что ж! и тянул. — Чем я лучше других? А зело трудно и нудно было — и поесть было неколи, да и нечего, не то чтобы спать. Целое лето мучились от водяные тяготы; люди, что мухи, гибли, а у меня и живот, и ноги сини были — как и вынес! Два лета так-то бродили на водах, мёрли да синели, а зимами через волоки волочились. А на той Шилке я в третий раз тонул, да всё не утонул: оторвало мою барчонку от берега водою, ухватило да и понесло; жена и дети на берегу остались — плачут, руки к небу возносят, хотят до неба докричать, а меня с кормщиком помчало — словно щепку нас буря подхватила... Переворачивает, это, нашу барочку вверх и боками, и дном, треплет, а я по ней ползаю, что козявочка, да кричу:

«Владычице, помози!» Иное ноги в воде, а иное выползу наверх! Гнало с версту и больше, да люди у смерти отняли, — только всё размыло до крохи. Да и крох-то этих было не густо. А что станешь делать, коли Христос да Пречистая Богородица изволили так? Их воля. Я-то, вышед из воды, смеюсь — рад, что жив, а люди-те плачут, платье моё по кустам развесивши. А Пашков опять меня же хочет бить — мало ему, благо зажила спина. «Ты-де, вопит волком, сам над собою делаешь на посмех!» Я-то сам топлю себя! И я опять Богородице-свету докучать: «Владычица! уйми дурака того!» Так она, надёжа, уняла — жалко меня стало. Потом доползли до Иргейя озера. Волок тут большой, стали зимою волочиться — волами поделались. Пашков отнял у меня работников, так я один уже и помаялся: детишки маленькие, едаков много, хоть и малы рты, а работник один я, горемыка-протопоп; нарту сам себе стюкал топориком, уложил деток да протопопицу — и волоку. А доволок, помогла Всепетая. А там и весна тёпленька глянула: птички запели; травка зазеленела; речушки прошли, — так мы по Ингоде реке и поплыли на низ — четвёртое лето от Тобольска плаванию моему и плаканию — всласть наплакался. Там лес гнали хоромный и городской — остроги ставили: Иркутск, Нерчинск, Албазин — много острогов нагородили. И стало есть нечего:

люди учили с голоду пухнуть да помирать, да от работные водяные бродни погибать. О-и-хи-хи! Река мелкая; плоты тяжёлые; приставы немилостивые; палки большие; батоги суковатые; кнуты острые; пытки жестокие — огонь да встряска, — люди голодные: лишь станут мучить, ан и умрёт... Ах, времени тому! не знаю, как и ум от меня не отступился. А от Пашкова он ушёл — да и был ли, полно? На Нерче реке живучи, с травую перебивая, голодом помирая, а он всё лютует, всё ему мало. Осталось нас малое место, которые не перемерли, и мы, отай от него, по полям да по степям скитающися, что кроты коренья копали. А пришла зима — сосну грызли, аки зайцы, а иное и кобылятинки Бог даст, либо кости находили зверей, что волки зарезали, и что волк не доест, мы доедим; а то и самых озяблых волков да лисиц ели и всякую скверну. Кобыла жеребёнка родит, а голодные отай и жеребёнка, и место скверное кобылье съедят. А Пашков сведал — и кнутом до смерти забьёт. И кобыла умерла — всё извод взял, понеже не почину жеребёнка того вытащили: лишь голову появил, а они и выдернули да почали черовь скверную есть. Ох, времени тому! И сам я, грешный, волею и неволею причастник тем кобылым и мертвечьим сквернам и птичьим мясам. Увы, грешной душе моей, юже аз погубил житейскими сладьми! Ох, времени тому

страшному!

— О-ох! — вырвался страстный стон из груди Морозовой.

Молодая боярыня бросилась перед Аввакумом на колени и, схватив его руку, покрывала её поцелуями.

— Батюшка! свет ты наш — мученик Христов! — шептала она страстно.

Аввакум встал в сильном волнении и силился приподнять молодую боярыню, которая целовала его рясу, а потом припала к ногам.

— Господь с тобой, дочушка моя по Христе, Федосьюшка милая, светик мой! — бормотал он растерянно, радостно, сиюсь приподнять молодую женщину. — Встань, дитя божье!

— О-ох свет наш-учитель! Дай мне, грешнице, ноги твои святые слезами омыть и косою моею мерзкою вытереть, — шептала боярыня, ломая свои пухлые ручки.

Аввакум приподнял её, бережно прижал её голову к своей груди и дрожащею рукою крестил плачущую женщину.

— Господь над тобой, дочушка! Ангелы осени тебя чистые! Успокойся, дитятко! — ласково говорил он, усаживая её.

Княгиня Урусова также всхлипывала, припав головой к столу. Маленькая царевна стояла вся красная, готовая заплакать.

Морозова села. Грудь её сильно поднималась под малиновой душегреею; губы дрожали. Аввакум с трудом пришёл в себя.

— Разбередил я вас, старый дурак, миленькие мои — простите! — говорил он в волнении. — И что ж, светые мои, гляючи на вас, скажу: ближе к Богу жена стоит нежели муж. Ей-так! ей-ей, воистину так! Недаром Господь жену создал из ребра мужчины, а мужа из персти земной, из грязи. Тем и выше жена мужа и чище его духом и телом. Не вы первые, светики мои, не вы последние пример тому: уж коли женщина верит, так её вера — адамант крепок и сила в ней несокрушимая. Вот хоть бы обо мне сказать: когда мы помирали голодную смертью в даурской далёкой стороне и питались скверною всякою, мертвечиною и сосною, нас от смерти спасли жёны воеводские: жена одного Афанасья Пашкова, Фёкла Семёновна, боярыня, да боярыня воеводская сноха, Авдотья Кирилловна, они нам от смерти голодной тайно давали отраду: без ведома его, Афанасья, пришлют иногда кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, сколько сойдётся — четверть пуда, и гривенку-другую, а иногда и полпудика накопят и передадут, а иногда у куров корму из корыта нагребут да нам на обед либо на ужин пришлют. А раз и курочку живую дали. Чёрненькая была курочка, хохлатенькая и в штанишках, говорунья

такая — всё бывало каждое утречко «коко-коко! коко-коко!» Ан глядь — два яичка снесла, да так по два яичка на день и приносила робяти нашему на пищу, божиим поведением нужде нашей помогая: Бог так строил. Да увы! на нарте везучи в то нуждное время, удавили её по грехом нашим, не доглядели. И плакали по ней, гораздо плакали. И нынче жаль мне курочки той, как на разум, голубушка, придёт. Не то курочка, не то чудо было от Бога: во весь год по два яичка давала — сто рублей при ней плюново дело! Жалею... И та курочка, одушевлённое божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбка прилунится, и рыбку клевала и нам против того два яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая! И не просто она нам досталася. У боярыни той воеводши куры все переслепли и мереть стали, так она, собравши в короб, ко мне их прислала: чтоб-де батько пожаловал — помолился о курах, И я подумал: кормилица, то есть, наша, детки у неё, надобны ей куры. Да молебен пел; воду святил, куров кропил и кадил; потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чего есть, и водою покропил, да к ней всё и отослал. Курки божиим мановением исцелели и исправились по вере её, боярыни. От того-то племени и наша курочка была. Да полно того говорить — у Христа не сегодня так повелось. Ещё Косма и Дамиан

человеком и скотом благодетельствовали и целили о Христе. Богу вся надобна: и скотинка, и птичка во славу Его пречистого Владыки, ещё и человека ради. А всё жаль курочки той...

Вдруг послышалось тихое, сдержанное всхлипыванье. Поглощённые рассказом Аввакума, мысленно бродившие с ним по далёкой, неведомой даурской земле и по Нерче реке, молодые боярыни не заметили, как маленькая царевна, тоже жадно слушавшая странного старичка и не спускавшая с него своих больших изумлённых глаз, припав своей белокурой головкой к коленям княгини Урусовой, тихо плакала.

— Что с тобой, солнышко царевна? Об чём ты изволишь плакать? — встревоженно спрашивала молодая княгиня, приподнимая с своих колен заплаканное личико Софьюшки-царевны.

Девочка не отвечала, только розовые губки её снова складывались, чтобы заплакать пуще прежнего.

— Христос над тобой, солнышко светлое! Об чём плакынькаешь? — допрашивали её обе сестры боярыни. — А? поведай нам — об чём?

— Жалко, — отвечала девочка, сисясь сдержатъ слёзы и как бы глотая их.

— Кого жалко, золотая?

— Курочку жалко...

— А!.. курочку!.. — все улыгнулись. — Что ж

теперь плакать об ней? Вон мы не плачем...

— Нет, и вы плакали.

— Мы плакали о батюшке, об отце Аввакуме, какие он там муки терпел... А тебе батюшку жалко? а? Скажи, золото червонное.

Девочка посмотрела на Аввакума. Тот ласково улыбался ей.

— Что меня, старого-то ворона, жалеть, осударыня царевна! — сказал он, подходя к ней и крестя её головку. — Я вон жив — брожу, а курочка-то умерла.

В это время в комнату вошла, переваливаясь, как не в меру накушавшаяся утка, полная, с ожиревшим лицом и мешковатым подбородком, пожилая женщина. Заплывшие жиром глазки чуть-чуть выглядывали из своих щелей, словно тараканы.

Женщина, увидав Аввакума, тотчас подошла к нему под благословение. Тот осенил её истово, двуперстно, изобразив из своих пальцев сорочий хвост.

— Я-то, старая, царевну ищу, а моя царевна вон где, — заговорила вошедшая женщина, кланяясь хозяйкам в пояс. — Она, моя голубушка, знает, где коломенской пастилой кормят.

— Нету, мамушка, я не ела пастилы, — отвечала девочка.

— Ах мы, скверные! — спохватилась

Морозова. — Заслушались слова Божия, а о пастиле-то и забыли... А нам свеженькой, двухсоюзной прислал милый княжич наш, Васенька Голицын. Сбегай, Дунюша, принеси... и батюшку попотчует, как та курочка черненька, хохлатенька.

— Ах вы, курочки мои золотые, балуете старика, — любовно говорил Аввакум, провожая глазами Урусову.

— А никак ты, царевнушка, плакынькала? — сказала толстая мамушка, вглядываясь в глаза девочки. — Об чём слёзки жемчужны?... а?

— Об курочке, как курочку задавили...

— Это я, старый ворон, каркал... раскивил царевну, — вмешался Аввакум. — Курочка у меня в Сибири была.

— Осударыня царевна! — послышался вдруг молодой звонкий голос в дверях. — Осударыня царица приказала тебя кликать — учитель пришёл.

Это была молоденькая дворская сенная девушка с розовыми щеками.

— Какой учитель? — встрепенулся Аввакум, обращаясь к маленькой царевне.

— Симеон Ситианович, — бойко отвечала девочка.

— А! Симеон Полоцкий¹⁴... хохол... умник

¹⁴ Полоцкий Симеон (1629–1680), церковный деятель и писатель.

белорусский, — брезгливо заметил Аввакум. —
Чему же это он учит тебя, государыня царевна?

— И письму, и цифири, и великим хитростям, — быстро заговорила девочка, — псалтырь виршами, и небо мне показывает, и планиды... есть планида Крон, есть планида Ермий, и звёзды веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, а земля черна и кругла — она есть центр всего мира...

Девочка захлёбывалась от торопливости, желая разом выложить все свои знания. Личико её разгорелось, глаза блестели. А Аввакум, слушая её, только головой качал.

— Ну, научат добру эти хохлы, научат...

Глава IV. СТЕНЬКА РАЗИН У НИКОНА

Тяжёлое, очень тяжёлое было это время — шестидесятые годы XVII столетия, к которым приурочивается наше повествование, — такое тяжёлое время, что едва ли и переживала когда-либо подобную годину святая Русь, хотя она уже и вынесла на себе и двухсотлетнее татарское ярмо, и лихолетье «смутного времени», и великое моровое поветрие; в эти тяжёлые шестидесятые

годы русская земля раскололась надвое — разорвалось надвое русское народное сердце, надвое расщепилась, как вековое дерево, русская народная мысль, и самая русская жизнь с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое отрицающим.

И раскол русскую землю и русскую жизнь надвое не Никон, которому приписывают это расчленение великого царства раскольники, и не Аввакум, которого история считает первым заводчиком, так называемого, «раскола» или «старообрядчества», — нет, клином, расколовшим русскую землю и русскую мысль надвое, был просто типографский станок — это величайшее измышление человеческого ума, — станок, привезённый в Москву теми, которых батюшка Аввакум называл «хохлами» и о которых он говорил маленькой царевне Софьюшке, что они «научат добру»...

Дело было так. Привезли «хохлы» в Москву этот пагубный станок, устали на печатном дворе, и началось в Москве печатанье церковных, богослужебных и иных душевспасительных книг. А до этой поры на Москве и по всей русской земле были книги писаные. В писаных книгах, само собою разумеется, было много описок, неточностей, разноречий: по одному списку в символе веры значилось — «его же царствию не

будет конца», а по другому — «нести конца», в одной книге об Иисусе Христе говорится — «рождена, несотворенна», а в другой — «рожденна, а не сотворение», и ввиду этого разноречия одни принимали этот аз, а другие отметали его. Было много и других подобных спорных вопросов. Типографский станок должен был примирить все эти споры: печать намерена была держаться чего-либо одного — и она нашла этот аз излишним. Люди, привыкшие слышать от купели своей в символе веры этот аз, восстали за него.

— Нам всем, православным христианам, — говорили эти сторонники аза, — подобает умирать за один аз, его же окаянные враги (это «хохлы») извергли из символа там, иде же глаголется о Сыне Божиим Иисусе Христе — «рожденна, а не сотворенна»: велика зело сила в сём азе сокровена.

К сторонникам аза принадлежал и знакомый уже нам благообразный старец, протопоп Аввакум, вынесший ужаснейшие семь лет ссылки в Даурии и рассказывавший в предыдущей главе нашего повествования о своих страданиях в сибирской стороне боярыням Морозовой и Урусовой и маленькой царевне Софьюшке.

Когда «хохлы» привезли в Москву типографский станок, то в числе «справщиков» к нему был приставлен и Аввакум, или, говоря современным языком, Аввакум назначен был одним

из редакторов для печатания на Гуттенберговском станке церковных книг; но когда Никон, под влиянием образованных «хохлов», вроде Епифания Славинецкого, и хитрых греков, вроде Арсения, начал коренное исправление в печати богослужебных книг, и когда благочестивый Аввакум с товарищами объявили, что аз они скорее умрут, чем позволят выбросить его в корректуру символа веры, и при этом не послушались решения целого совета, или собора святителей, то их и подвергли разным наказаниям и ссылкам.

Затем, когда упрямый и властолюбивый Никон, в гневе на царя, оставил патриарший трон и удалился в свой монастырь, сторонники аза в большинстве случаев были возвращены из ссылки. Возвращён был из Сибири и Аввакум. И вот после этого мы и видели его в беседе с Морозовою и Урусовою в вечер вторичного возвращения Никона из Москвы в свой монастырь.

Это и есть начало раскола в русской земле, величайшее в истории внутреннего развития русского народа событие совершилось таким образом из-за простой корректуры, вызванной всё тем же пагубным станком Гуттенберга.

Такие мысли, как волны под давлением порывистого ветра, обуревали поседевшую голову Никона, когда он, на другой день после неудачной поездки в Москву, стоял во время обедни в своей

Воскресенской церкви и прислушивался к монотонному чтению иподиаконом апостола.

«Литеры малые, да слова, да препинательные знаки, да перстное сложение — эку бурю подняли оные литеры! — на весь мир буря... А всё сей станок печатный»...

Так бессвязно думал он, напрасно селясь вслушаться в чтение иподиакона. Как изменился он со вчерашнего дня! Словно бы выдержал необыкновенный пост или тяжкую болезнь.

Но, как он ни был занят своими думами, он не мог не заметить какого-то неизвестного человека, который стоял у правого клироса перед изображением Спасителя, несущего крест, и горько плакал. По виду он не казался москвичом, да и костюм его отличался от обыкновенного московского платья. Никону виднелся несколько его профиль с характерным широким носом, подстриженный довольно высоко, толстый, как у вола, затылок; такая же шея и широкие плечи; вся коренастая, невысокая фигура его казалась крепкою, точно выкованною молотом на наковальне.

Всю обедню незнакомец молился и плакал: Никон видел, как он припадал головою к полу, долго не поднимал её, и как при этом вздрагивали от плача его могучие плечи.

«А должно, большое горе на душе у него», —

невольню думалось патриарху: ему самому, разбитому и поруганному, понятнее теперь становилось всякое человеческое горе.

После обедни незнакомец подошёл к нему под благословение; необыкновенно добрые и, по-видимому, робкие, с какою-то скрытою, неуловимою мыслью глаза произвели на патриарха невольное впечатление. В глазах этих было что-то чарующее, покоряющее своей мягкостью, в которой сказывалась сила.

— Ты не здешний? — спросил его Никон, поднимая правую руку для благословения.

— Не здешний, великий государь владыко, — смело отвечал незнакомец.

— Не называй меня великим государем, — Остановил его патриарх, — прошло моё государствование.

Незнакомец смотрел на патриарха, по-видимому, не вполне понимая его.

— Я токмо патриарх, а не великий государь, — продолжал Никон с дрожью в голосе, — великий государь у нас один — царь Алексей Михайлович... А ты откуда и кто таков родом?

— Я с Дону казак, святой владыко, Степаном называюсь, по-нашему Стенькою, а по прозванию Разиным... Был на Дону на атаманстве, а теперь

иду молиться — душу спасти¹⁵.

— Доброе дело, — сказал патриарх и благословил его. — Куда ж ты идёшь молиться?

— Кланялся я на Москве московским святителям, а теперь иду поклониться соловецким, да к тебе, великий патриарх, зашёл просить твоего благословения всему тихому Дону.

— Благое твоё намерение, — ласково и задумчиво сказал Никон, — я рад тебе, Степан, заходи ко мне, я с тобою поговорю.

Разину на вид казалось лет около пятидесяти, а может быть, и меньше. В широкой, окладистой бороде его серебрилась резкая проседь. Невысокий лоб разрезывался надвое длинною характерною морщиною. Лобная кость казалась сильно выдавшеюся над глазами. В выражении лица читалось что-то задумчивое, невысказываемое.

Патриарх вышел из церкви, а Разин остался, чтобы приложиться к иконам и отслужить панихиду по новопреставленной рабе божией девице Дарье. За панихидой он плакал ещё неутешнее, чем за обедней. Кто была эта

¹⁵ В 1661 г., по некоторым историческим данным, Разин отправился на богомолье в Соловецкий монастырь и по пути посетил Москву. Встреча Степана Разина с Никоном — плод авторской фантазии.

новопреставленная Дарья — это знал один только Стенька.

После панихиды к нему подошёл посланный от патриарха — это был его неразлучный крестоносец, Иванушка Шушера — и позвал в патриарший кельи.

Никон писал что-то, когда ввели к нему Разина. Патриарх указал ему место на скамье, а сам остался в кресле с высокою спинкою, на которой вышит был малиновый крест, как бы осенявший голову патриарха.

— Я рад тебя видеть, Степан, — снова сказал патриарх приветливо, взглядываясь в красивые глаза гостя. — Что у вас на Дону слышно?

— Слухов у нас, владыко святой, ходит не мало, а всё больше слухи московские, — отвечал Разин.

— Какие же такие московские слухи?

— О московском настроении ходят слухи — на тебя-де, великого патриарха, гонение несправое от бояр: таковы у нас слухи.

— И то правда, — сказал Никон, сверкнув глазами, — боярам я поперёк горла стал — не давал им воли, так они наплели на меня великому государю многие сплетни безлепично, и оттого у меня с великим государем остуда учинилась на многие годы. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня

пуще распалили сердце государево. Теперь меня, великого патриарха, хотят судить попы да чернецы, да епископы — дети собираются судить отца... А у меня один судья — Бог!

Патриарх чувствовал, как раскрывались в его душе свежие раны, и голос его крепчал всё более и более.

— Теперь я стал притчею во языцех: бояре надо мной издёвки творят, моё имя ни во что ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого своего патриарха, выгоняют, аки оглашённого; ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная над собою страха, играют святостию, кощунствуют. Вон теперь Семенко Стрешнев что чинит с своею собакою — и сказать страшно. Он, вор Семенко, научил своего пса сидеть на задних лапах, а передними — благословлять!

— Благословлять! Собаку научил благословлять! — невольно вскрикнул Разин и вскочил с места. Глаза его загорелись — он в этот момент совсем не походил на прежнего, тихого, с кротким выражением глаз Разина. — Это боярин научил собаку?

— Да, боярин Стрешнев, на ушке у царя он... И называет эту собаку Никоном-патриархом — Никонкою... Когда соберутся у него гости, и он зовёт ту собаку: «Никон-ко! Никонко-патриарх!

поди, благослови бояр...» И бессловесный пёс кощунствует, ругается над нами и над благословением Божиим... Вот до чего мы дожили...

Никон встал и в волнении заходил по келье, стуча посохом.

— Так мы тряхнём Москвою за такое надругательство над верою, — мрачно сказал Разин.

Он был неузнаваем. Прекрасные глаза его остоячились, нижняя челюсть дрожала.

— Они хуже бусурман, — глухо продолжал он. — Мы с них сдерём боярскую шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону голытьба, худые казаки давно обносились.

Он как бы опомнился и снова моментально ушёл в себя, только глаза его вопросительно обратились на патриарха.

— Теперь хотят судить меня судом вселенских патриархов, — продолжал Никон также несколько более спокойным голосом. — Я суда вселенских патриархов не отмечаюсь-ей! не отмечаюсь! Токмо, за что судить меня? Если за один уход с престола, так подобает и самого Христа извергнуть — он много раз уходил страха ради иудейска... А я сшел с престола, бояся гнева царёва и козней боярских: они хотели многим чаровством опоить меня, да и опоили бы, только Бог меня

помиловал — безуем камнем да индроговым песком отпился от того чаровства.

Он остановился. Разин стоял, глубоко опустив голову.

— Садись, Степан, что ты встал? — сказал патриарх, как бы намереваясь переменить разговор.

Разин молча сел и продолжал о чём-то думать.

— Так как же, Степан, когда ты в Соловки думаешь идти? — спросил Никон.

— Пойду ныне же, чтоб к весне на Дон воротиться, — отвечал Разин раздумчиво.

— А у нас не поживёшь?

— Поживу, помолюсь, коли милость твоя ко мне будет.

— Живи, у нас место найдётся, и корм будет.

— Спасибо, святой патриарх.

Потом, немного помолчав, Разин спросил:

— А твоё великое благословение на Дон будет?

— Я Дон благословлю иконою, — отвечал патриарх.

— А что мы казацкою думою надумаем — и то благословишь?

— Коли на добро православным христианам и во славу Божию, то будет и моё благословение. По тебе сужу, что донские казаки не суть рабы ленивые у Господа — молятся неленостно.

— Плоха наша молитва, — отвечал Разин

грустно, — не высоко подымается.

— Для чего не высоко?

— Должно, грехи не пускают до неба — не доходит до Бога, — продолжал Разин как-то загадочно.

— Не дело говоришь, Степан, — строго заметил патриарх, — Бог и высоко, и низко живёт — до него всё доходит.

Разин молча покачал головою и вздохнул.

— У тебя, Степан, я вижу, горе есть на душе, — сказал Никон, зорко вглядываясь в своего собеседника.

Разин молчал, только рука его, брошенная на колено, задрожала.

— А кто виною печали твоей? — с участием спросил патриарх.

— Те же, что и твоей, владыко святой, — ещё загадочнее отвечал гость.

— Ноли бояре?

Дверь в келью отворилась, и на пороге показался Иван Шушера, бледный, испуганный.

— Ты что, Иванушко? — тревожно спросил патриарх. — Что случилось?

— Бояре со стрельцами приехали.

— Спира воинская... взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском, — сказал он, вставая во весь свой рост. — Слуги Анны и Каиафы идут за

мною¹⁶.

Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.

— Что это? — тревожно спросил Никон.

— На бояр, — сипло отвечал гость.

Никон вздрогнул.

— Нет, не буди Петром... вложи нож... Всяк, иже нож изъемлет, от ножа погибнет, — торопливо говорил патриарх.

Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили — так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.

— Вложи нож, Степан, вложи! — повторил Никон, слыша шум в сенях.

Разин спрятал нож.

— Так к нам на Дон — мы не выдадим, — сказал он угрожающим голосом, — мы их разтак...

В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.

— Анна и Каиафа, — громко сказал патриарх, откидывая назад голову, — кого ищете? Се аз есмь...

¹⁶ Во дворе первосвященника Каиафы и его тестя Анны (Анапа) собрались на совет и приняли решение убить Христа его враги (Евангелие от Луки, III, 2; от Иоанна, XVIII, 13, 24).

— Комедиант! — проворчал про себя Алмаз Иванов. — Эки действия выкидывает.

Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.

— Иди с Богом, сын мой, — сказал Никон, благословляя Разина. — Помолись обо мне.

Разин вышел, косо посматривая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.

— Эки буркалы, — проворчал один стрелец со шрамом через всю щёку. — Н-ну глазок!

Глава V. АВВАКУМ И БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

Боярыня Морозова, которую мы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохою знаменитого боярина Бориса Морозова, того Морозова, которого тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». С своей стороны и Борис «сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нём и скорбел паче души своей, день и ночь не имея покоя». А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого

царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых годах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове — сына Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал её перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне — молодая боярыня действительно была «леповида» — существо необыкновенно миловидное, и «лепослова» — потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы».

Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Ещё с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для неё наступала как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество. Громыханье посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенья да вязанья, беседы с ключницами да мамушками и — как верх эстетического наслаждения — пенье песен санными девушками — вот вся жизнь боярыни, каков бы ни

был её темперамент, каковы бы ни были годы и её личные стремления.

Но не для всех женских характеров такая жизнь даёт полное духовное удовлетворение... Морозова была из таких женщин, для которой гроыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни — и она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы её требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушке, который ещё был так мал, — искало борьбы, самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам — идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дразги этой жизни, несмотря на её блеск и роскошь — и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, в своём сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло её тёплое, отзывчивое сердце, — она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом, и без того пышный, гремевший на всю Москву, поставила на царскую ногу; одной ей, её прихотям служивало в доме до трёхсот человек прислуги;

одно мановение её беленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-света. Когда она выезжала из дому в своей богатой, «драгой и устроенной мусиею и серебром и с аргамаки многими» карете, запряжённой двенадцатью лошадьми, «с гремучими чепьми», то за нею следовало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все триста, «оберегая честь её и здоровье», а народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты маленькая ручка боярыни. Сам тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей «пучеглазенькой Прокофьевны», как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку — «мурманку». А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глаза красавицы.

Но и это не удовлетворило её, не наполнило её души довольством, не заняло пустоты, в которой сохло её молодое сердце. Она искала идеала... Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека: то был Никон. В своём гордом удалении от царского и святительского блеска, в своём вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его

прежняя жизнь — от босоножия, когда маленьким Никиткой он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и «великим государем», гремел с амвона на истинного великого государя, — вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но, когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нём сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствца, — она горько оплакала этот мираж своего идеала.

И вдруг судьба столкнула её с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото, в делах добра и железная в других случаях, эта великая, страстная, но детски наивная вера не только во всепроникаемость божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры — всё это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой, пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь — не та же страшная Фиваида,

над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве сибирские земляные тюрьмы — не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошёл — прошёл босыми ногами по льду и по горячим угольям. И он не очерствел, не застыл в своём высокомерии, как Никон; он молился и плакал и радовался своим страданиям, — да мало того — каждый день молился за других, часы и заутреню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах.

— Ох, батюшка-свет! святитель наш! Да как же ты службу-то служил при этих-то трудах да мучениях? — невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрой из дворца и захватив с собой в карету своего дорогого гостя.

— А всё также, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой, или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильно в те поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой в пустыне мёртвой звучит, птички божьи моё моление слышат, и за птичек молю, и за деревцо — всё, ведь, оно и божье, и наше... А буде в людях я, и бывает неизворотно, или на стану станем, а

товарищи-то не по мне, моления моего не любят, — и я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок — коротенько сделаю: побьюся головою о землю, либо об лёд поколочусь, об снег, а то и заплачется — и всё сладко станет, коли голова об землю поколотится, либо слеза горячая снег прожжёт. А буде по мне люди — и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мною же молятся, плачут, а иные кашку варят — и тоже маленько молятся. И в санях едуци, пою себе да веселюсь, и в тюрьме лежа, пою да кандалами позвякиваю, а кандальный-то звон, тюремный, светики мои, слаще Богу звону колокольного: звонок, голосист звон-от тюремный!.. Везде, пташки мои, молюсь и пою, а хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом, повою до неба праведного...

Аввакум ещё более очаровал сестёр, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни: иные кланялись до земли; другие хватали и целовали её руки, края одежды. Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви.

При входе во внутренние покои навстречу боярыне вышла благообразная, бодрая старушка с

прелестным белокурым ребёнком на руках. Ребёнок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать.

— Ванюшка! веселие моё! цветик лазоревый!

Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребёнка к Аввакуму. Щёки её горели, по всему лицу разлито было счастье.

— Батюшка! благослови мово сыночка — наследие моё. Аввакум истово перекрестил ребёнка, сунул легонько свою костлявую, закрученную руку к раскрытому роту мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову.

— Весь в матушку-красавицу, токмо русенек — беляв волосками гораздо... А подь ко мне на ручки...

И протопоп протянул к ребёнку растопыренные ладони. Ребёнок смотрел на него пристально, с удивлением и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался.

— Подь же к деде на ручки, подь, цветик, — поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя.

— Иди-ка, боярушко, иди, миленький! — говорил этот последний.

Ребёнок пошёл на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась.

Перекрестилась и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребёнок, взглянув в глаза Аввакума, потом обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седою бородой протопопы.

— Ай да умник! ай да божий! — ласкал его протопоп. — А Бозю любишь? а? любишь, боярушко, Бозю?

— Маму люблю, — отвечал ребёнок, оборачиваясь к матери.

Морозова только руками всплеснула и припала к ребёнку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече.

— А Бозю любишь? — настаивал Аввакум.

— Няню люблю, — снова невпопад отвечал ребёнок.

— А Боженьку? — вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. — Боженьку...

— Дуню тётю.

— Ах, Господи! Ванюшка!

Аввакум поднёс ребёнка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями.

— Вот где Бозя! — сказал он. — Глянь, какой светленький.

Ребёнок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню: «смотри-де —

как хорошо молюсь».

Старушка няня, мать и «тётя Дуня» улыбались счастливо, радостно. Но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребёнка: так ли-де, истово ли, мол, переточки складывает, не никонианскою ли-де еретическою щепотью?

— Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь переточки, как слагаешь крестное знамение...

— Ручку сложи, — подсказала мать.

Ребёнок не сложил, а разжал левую ручку, а правой стал тыкать в левую ладонь... «Сорока-сорока, кашку варила, на порог скакала», — лепетал он, весело глядя в добрые глаза протопопы.

Мать вспыхнула и застыдившимся лицом уткнулась в ладони. Даже суровый протопоп не выдержал — рассмеялся.

— Вот-те и перстное сложение! Ах ты никонианец, еретик ты эдакий! А? вон что выдумал-по-никоновски молиться: «сорока-сорока — кашку варила...» Истинно по-никоновски!

— Матушка! срам какой! Владычица! — застыдились боярыни.

— Никонианец... никонианец, — добродушно говорил протопоп, — поди, чу, и табачище уже нюхает...

Старушка няня готова была сквозь землю провалиться.

— Чтой-то ты, батюшка, грех какой непутём говоришь! — защищалась она. — У нас и в заводе-то этого проклятого зелья не бывало... Вона, что сказал!

А Аввакум между тем старался сложить пухлые, точно ниточками перевязанные пальчики ребёнка в двуперстное знамение; но как ни силился — не мог: пухлая ладонька или разжималась совсем, растопыривая пальчики как бы для «сороки», или сжималась в кулачок.

— Ну, мал ещё — глупешенек, мой свет, невинный младенец, — говорил протопоп, передавая ребёнка матери. — Подрастёт — научим перстному сложению и в лошадки ещё поиграем.

Аввакум окончательно покорила сердца молодых женщин. Морозова от волнения не спала почти всю ночь. Ей постоянно представлялась далёкая, студёная и мрачная Сибирь и какая-то страшная, неведомая, ещё более далёкая Даурия, по которым бродил и мучился благообразный, святой и добрый старичок, страдал за перстное сложение... «Ах, какой он добрый да светлый!.. Ванюшка-то как его полюбил — всё брадою его святою играл, словно махонький Христосик-свет играл брадою Симеона-богоприимца... Ах, нашла я мой свет, нашла! Пойду я за ним, как блаженная Мария

египетска ¹⁷ я... Ох, Господи, сподоби меня, окаянную... Аввакумушко! светик мой, батюшка».

Так металась в постели молодая женщина, охваченная волнением и жаром: то страстно шептала молитвы, то с такою же страстью сжимала свои нежные пухлые руки и била себя в полные перси. Она несколько раз вставала с постели и босыми ногами пробиралась к киоте, бросалась на пол и горячо, сама не зная о чём, молилась и радостно плакала. Опомнившись, что она повергается перед Христом простоволоса, в одной сорочке, сползающей с плеч, она стыдилась, вспыхивала сама перед собой и закутывалась в шёлковое из лебяжьего пуха одеяло; но вспомнив, что и Марию египетскую она видела на образах простоволосою, даже без сорочки, прикрытую только своей косою, она успокоивалась и снова падала ниц перед иконами...

«Ах, какой он светлый!.. И Ванюшку благословил... Ах, сыночек мой!.. А он сороку-то, сороку...» — бормотала она бессвязно.

Затем неслышными, босыми ногами прошла

¹⁷ Мария Египетская — преподобная VI в. В молодости была блудницею. Однажды присоединилась к паломникам, шедшим в Иерусалим, обратилась в христианскую веру и 47 лет жила в покаянии в заиорданской пустыне.

она в соседнюю комнату, где, освещаемый тусклым светом лампы, спал, разметавшись в постельке, её Ванюшка. В комнате было жарко, и ребёнок весь выкарабкался из-под розового одеяльца. Он улыбался во сне, а между тем и сонный выделял ручками что-то вроде «ладушки»: молодая мать догадалась, что это он во сне проделывал «сороку», — и, счастливая, восторженная, не вытерпела, чтоб не поцеловать его босые ножки...

— Что ты, сумасшедшая, делаешь? — раздался за ней испуганный шёпот.

Она вздрогнула и обернулась: за нею стояла старая няня и грозилась пальцем.

— Что ты, озорная! — накинулась няня на растерявшуюся боярыню. — Испужать, что ли, робёнка хочешь, калекой сделать?

— Я тихонько, нянюшка, — оправдывалась пойманная на месте преступления молодая мать.

— То-то, тихонько! А чего Боже сохрани...

— Да он «сороку», няня, во сне делал! Ах, какой милый!

— А хуть бы и ворону, не то что «сороку», — ворчала старушка, — это с ним, с младенцем чистым, сами ангелы божии играют — «сороку» сказывают ему — вот что! А ты, дура матушка, будишь его.

— Не сердись, няня, не буду.

— То-то не буду... Вот такая же дура —

царство ей небесное — была и матушка твоя, боярыня Анисья Петровна, не тем будь помянута... Я тебя махонькую тоже нянчила, выносила вон какую красавицу, а покойница боярыня Анисья Петровна так же вот, как ты, одна ночью и приходи в твою спальню, а ты лежишь в кроватке такой аγγελочек — она и накинься тебя целовать... А я-то, старая гримза, тады помоложе была, крепко заснула, так и не слыхала, что матушка-то твоя с тобой проделывает... Ты как вскрикнешь — да так и закатилась... Уж насилу добрые люди тебя, голубушку, отшептали на другой день... Так-то, не хорошо детей будить. Может, он, светик, с ангелами забавочки творит, а ты его пугаешь.

— Ну-ну, прости, нянюля, не буду никогда.

И молодая женщина бросилась целовать старушку.

— Ну, добро, добро! Пошла, спи! Ишь, полунощница... в одной рубашонке бродит простоволоса... Срамница! — ворчала старушка.

Только к утру Морозова угомонилась и заснула.

Протопоп Аввакум также беспокожно провёл эту ночь. Воротясь от Морозовой к себе домой, на подворье Новодевичьего монастыря, что в Кремле, он застал у себя друга своего и сына духовного, Фёдора-юродивого. Даже такой железный человек, как Аввакум, удивлялся суровому подвижничеству

этого юродивого. Он жил в это время у Аввакума.

— Зело у Фёдора того крепок подвиг был, — говорил о нём впоследствии Аввакум, — в день юродствует, а ночь всю на молитве со слезами, да так плачет горько, что душу разрывает. Много добрых подвижников знал, а такого другого и не видывал. Жил он со мной на Москве — уж и подивился я его великим подвигам! Бывало, ночью час-другой полежит, повздыхает, да встанет — тысячу поклонов отбросает — таково стучит лбом пред Господом да коленками бьётся, а там сядет на полу — и ну плакать. Боже ты мой! Как уж плакал-то! Откуда и слёзы берутся — не вем... Плачет-плачет, рыдает-рыдает, нарыдается гораздо, глаза попухнут от слёз, да тогда ко мне приступит. А мне немоглось тогда. Приступит: «Долго ли тебе, протопоп, лежатьтося? Образумься, вить ты поп — как сорома нет!» А мне всё неможется: так он подымет меня, говорит: «Встань, миленькой батюшко!» Ну и стащит как-нибудь меня; мне, в немощи-то, велит сидя молитвы говорить, а сам за меня поклоны бьёт — и счету нет! То-то друг мой сердечный был!.. Скорбен, миленькой, был с перетуги великия: черев у него вышло в одну пору три аршина, а в другую пору пять аршин — так он же сам и кишки себе перемеряет — и смех с ним, и горе! На Устюге пять лет беспрестанно мёрз на морозе бос, в одной рубахе — я сам сему

самовидец. Тут мне он и учинился сын духовный: как я из Сибири ехал, у церкви в палатку прибежал ко мне молитвы ради и сказывал, «как-де от мороза в тепле том станешь, батюшко, отходить, так зело-де в те поры тяжело бывает». По кирпичью тому ногами теми стучает, что каганьем, а на утро опять не болят. Псалтирь у него тогда был новых печатей в келье — маленько ещё знал о новизнах; и я ему подробно рассказал про новые книги; так он, схватив книгу, тотчас в печь кинул да и проклял всю новизну: зело у него во Христе вера горяча была! Не на баснях проходил подвиг, не как я, окаянный!

Такие суровые личности представляет этот век раскола русской земли! Мрачная эпоха и породила мрак, который и доселе не может быть побеждён светом — слишком мало этого света...

Юродивый молился, когда Аввакум воротился домой от Морозовой Он также помолился и лёг. Но сон его был беспокоен. Ему представилось во сне, что он всё ещё в селе Лепатицах, на Волге, где он был когда-то молодым попом. В село приходят медведятники с двумя медведями и «козами» в «харях», играют на бубнах и пляшут. И возгорается сердце Аввакумово ревностью по Христе, и налетает он яростно на медведятников и на плясовых медведей, бьёт и трощит их бубны, «хари» и домры, и отнимает медведей, бьёт их и

гонит в поле. А тут откуда ни возьмись боярин Шереметьев, Василий Петрович, воевода казанский, плывёт Волгою на судне богатом и велит привести к себе попа-бойца! «За что-де, сякой-такой попишка, медведей прогнал и медведятников побил?» — «За Христа-де ревновал»... Боярин хватъ попа-ревнителя в ухо, в другое! — «Ой! за что!» — «Вот тебе в третье ухо!» — Бац! — «Благослови-де сына моего, Матвея болярича». — «Не благословлю-де брадобрица, рыло скоблённое: грех-де благословлять блудоносный образ»... И боярин велит столкнуть попа в Волгу — и, много томя, столкнули... Но не утоп протопоп... Богородица вынесла на берег... С бороды каплет вода, с волос каплет... И вдруг приходит девица лепообразная исповедаться у попа, и он, треокаянный, распалился на красоту девичью... И взял поп три свечи, прилепил их к налою и возложил руку правую на пламя и держал, дондеже не угасло в нём злое плотское разжение: и — оле окаянства мерзкого! — то была не девица, а лепообразная боярыня Морозова.

Аввакум в ужасе проснулся и уже всю остальную ночь клал поклоны и плакал. Рядом с ним молился и плакал юродивый. Когда уже рассвело, они оба упали в изнеможении на пол. Пот с них лил ручьями...

— А всё не до кровавого поту... ох! — стонал

Аввакум и колотил себя в грудь.

Глава VI. ИЗ-ЗА АЛЛИЛУЙИ

Морозова проснулась поздно, но пробуждение это было какое-то радостное, светлое, точно в эту самую ночь она нашла, наконец, то, что так долго и напрасно искала. Она припоминала и переживала опять весь вчерашний день и в особенности вечер, проведённый с Аввакумом. Мысли её уже не витали в далёкой Даурии, но воротились к Москве, ко всему, что её окружало до сих пор, и во всём этом она находила теперь смысл, которого прежде понять не могла. Пустота, в которой она томилась, теперь казалась заполненной чем-то, чем — она сама не знала, но ей было светло и радостно. Ей тотчас же захотелось видеть людей, родных и близких. Ей казалось, что и с ними ей теперь будет легче — они стали как бы ещё ближе к ней.

Сделав все распоряжения по дому, поиграв с своим Ванюшкой, который со вчерашнего вечера стал для неё ещё милее и дороже, она велела заложить карету, чтобы ехать к Ртищевым¹⁸, с

¹⁸ Михаил Алексеевич Ртищев был приближенным Алексея Михайловича и управлял приказом новой чети. Его старший сын Фёдор Михайлович Ртищев (1625–1673) — крупный общественный деятель XVII в.

которыми находилась в родстве и дом которых был оживлённее всех других боярских домов в Москве. У Ртищевых сходились и никонианцы, приверженцы западных новшеств, и сами западники — черкасские хохлы вроде Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого, и, наконец, приверженцы **аза** — сторонники Аввакума и его товарищей по двуперстному сложению, а вместе с тем по гонениям и ссылкам. Ртищевы и им подобные, которые как бы начали самозарождаться в Москве, конечно, не без влияния Запада, были первые сеятели, бросившие в русскую почву зерно, из которого выросла гигантская личность Петра. Ртищевы вызвали в Москву первую партию учёных «хохлов», заводчиков всех будущих новшеств. Но Ртищевы в то же время любили и свою родную старину. В них была какая-то мягкость, терпимость, которая старалась сблизить между собою людей двух враждебных лагерей, и оттого и «хохлы», и аввакумовцы, и никоновцы находили радушный приём в их доме, а сами хозяева, и старый Ртищев, Михайло, и молодой, Фёдор — готовы были ночи просиживать в беседах и спорах с людьми обеих партий: сюда и Аввакум приходил «браниться с

Младший брат Ртищева, тоже Фёдор Михайлович, служил при государевом дворе чашником и стольником.

отступниками» и «кричать» о сугубой аллилуйи, и Симеон Полоцкий — потолковать о «космографионе», о «комидийных действиях» и о «планидах».

Хотя весь обиход жизни в доме Ртищевых покоился на старине, но новшества нет-нет да и проглядывали то в том, то в другом углу — в одеянии хозяев, в их словах, в их обхождении с людьми. Даже молодая Анна Ртищева не боялась рассуждать об «опресноках» и о «кентре» вселенной.

К этим-то Ртищевым и собралась ехать Морозова. Когда карета была подана, сенные девушки надели на свою боярыню бархатную, опушённую горностаями шубку, а на голову ей такую же горностаеву шапочку. «Уж и что у нас за красавица, боярынька наша — лазоревый цвет!» — ахали они, когда боярынька их, помолившись на иконы, проходила между двух рядов челяди — сенных девушек, разных благочестивых черничек и беличек приживалок, разных странниц, карлиц, дуток и юродивых. При этом старая няня повесила ей на руку шитую золотом калиту, наполненную мелочью для раздачи милостыни.

Когда она появилась на крыльце, выходявшем на обширный двор, то весь двор и вся улица перед домом были уже наполнены народом: на дворе — это её «слуги, рабы и рабыни», которые дорогою

должны были «оберегать честь и здоровье» своей госпожи, а на улице — нищие, ждавшие подачек, и любопытствующие, желавшие поглазеть, как поедет пышная Морозиха. На запятках кареты и на длинных подножках у окошек её стояли уже разряженные холопы. Тут же у самой кареты, на последней ступеньке крыльца сидел знакомый уже нам Фёдор-юродивый и заливался горькими слезами. Обыкновенно оборванный, без шапки, часто босиком и в одной рубаше, он теперь был одет в новенькую однорядку и в плисовые штаны; на ногах у него были новые козловые сапоги, на руках зелёные меховые рукавички, а на голове лисья шапка с красным верхом. Это его приказала нарядить сама Морозова, когда утром он явился к ней и держал что-то крепко зажатое обеими руками, которые он, при трескучем морозе, не разжимал во всё время пути от подворья Новодевичья, где он ночевал, до дома Морозовой. Оказалось, что это у него крепко зажато было в руках благословение, посланное через него Аввакумом молодой боярыне. Обыкновенно когда у юродивого бывала шапка, то, подходя под благословение к какому-либо уважаемому им попу, вроде Аввакума или Никиты Пустосвята¹⁹, он снимал шапку, принимал в эту

¹⁹ Никита (Константинович, Добрынин) Пустосвят — известный расколоучитель. При патриархе Иосифе вместе с

шапку благословение, зажимал его в шапке, как нечто осязательное, и носился так с шапкою целый день, и когда случайно, в забывчивости или с умыслом надевал шапку, то начинал плакать, что «потерял благословение», что «обронил духа свята», что «улетел-де дух свят» и т. п.

— Ты что, Федюшка, плачешь? — ласково обратилась к нему Морозова, положив руку на плечо.

— О-о! как же мне не плакать? Шапку на меня красну надели, что на дурака, — плакался юродивый, мотая своею нечёсаною бородкою с проседью.

— Ничего, Федюшка-свет, — как же без шапки-то? Морозно гораздо.

— Лучше морозно здесь, чем жарко там, в аду.

— Ну-ну, добро, милый.

И Морозова, сняв с него шапку, бросила в неё из своей калиты несколько горстей денег.

— На, милый, раздавай бедненьким.

Затем взяла его за руку и вместе с собой посадила в карету. И на дворе, и на улице народ приветствовал такой поступок боярыни громким

одобрением. «Ай свет наша матушка, Федосья Прокопьевна! буди здорова на многие лета! — О-о».

Седобородый, в высокой шапке с голубым верхом, кучер крикнул «гись!» Постромки всех шести пар белых лошадей, запряжённых цугом, быстро натянулись. Двенадцать молоденьких вершников, в шапках с голубыми же верхами, сидевших на каждой упряжной лошади, приосанились, тронули, прокричали тоже «гись!». Загремели «чепи» и дорогая упряжь, завизжали по снегу полозья — и карета двинулась. Она ехала шагом. По обеим сторонам её рядами шли «рабы и рабыни», но так, что всякий из нищих, желавший подойти к окну кареты, мог свободно пройти между рядами челяди. И впереди и по бокам валили толпы народа, тискаясь ближе к карете, к окнам её. А из этих окон постоянно высывалась — то белая, как комочек снегу, пухлая ручка боярыни и опускала в протянутые руки нищих либо алтын, либо денежку, то — из другого окна — корявая и жилистая, словно витая из ремней, рука юродивого и тоже звякала медью по протянутым ладоням нищих.

Шествие было очень продолжительно. И белая ручка, успевшая покраснеть от мороза, и корявая рука, которую не брал никакой мороз, продолжали мелькать то из одного, то из другого окна кареты и звякать медью. Но, наконец, одно

окно отворилось, и оттуда, бормоча что-то и мотая головою, быстро вылез юродивый. Он остановился на боковом отводе кареты, продолжая мотать головою и комкать в руках шапку. Все ждали, что он намерен делать. А он, увидав стоявшего в стороне у забора нищего, у которого за неимением шапки, седая, почти безволосая голова была повязана тряпицею, бросил ему свою шапку, закричав: «лови, дедушко!». Нищий поймал шапку и начал креститься. Народ криками выразил своё одобрение. Потом юродивый, распоясавшись и увидав бабу с сумою, бросил ей пояс. Затем он снял с себя свою новую однорядку и также бросил в толпу, говоря: «Подуваньте, братцы!» Восторженным крикам не было конца. Наконец, он снял с себя и сапоги, и онучи — и остался босиком и в одной рубахе...

«Го-го-го! — стонала толпа. — Федюшке жарко! божий человек!»

Скоро карета Морозовой въехала на двор к Ртищевым. Двор был обширный. За домом начинался сад. Высокие, вековые деревья были окутаны инеем. Звон «чепей», которыми особенно щеголяла упряжь Морозихи, был так пронзителен, что вороны, сидевшие на деревьях, испуганно послетали с них и стряхнули целые облака инею.

На крыльцо выбежали стаи холопов и холопок встречать знатную, богатую барыню. Оглянувшись,

Морозова увидела, что юродивый уже роздал всю свою одежду и, в одной рубаше и босиком, играл с ртищевскими дворовыми собаками, с которыми он был, по-видимому, в самых приятельских отношениях. Она только покачала головой и, сопровождаемая своею и ртищевскою челядью, вошла в дом. Навстречу ей вышла молодая Ртищева, боярыня Аннушка, та, что уже интересовалась новшествами и «кентром» вселенной, и поцеловалась с гостьей.

— Ах, сестрица-голубушка, у нас тут такая война идёт, словно Литва Москву громит, — сказала она, улыбаясь.

— Какая война, сестрица миленькая? — спросила гостя.

— А протопоп Аввакум ратоборствует. При слове Аввакум Морозова зарделась.

— С кем это он, сестрица?

— А со всеми: и с Симеоном Ситиановичем, и с батюшкой, и с братцем Фёдором.

Действительно, из другой комнаты доносились голоса спорщиков, и всех покрывал голос Аввакума. Морозова остановилась было в нерешительности, как вдруг на пороге той комнаты, где происходили споры, показалась седая голова.

— Ба-ба-ба! слыхом не слыхано, видом не видано! матушка, Федосья Прокопьевна! — приветливо заговорил высокий, с орлиным носом

старик.

Вошедшему было лет под семьдесят, но смотрел он ещё довольно молодцевато. Лицо его, несколько румяное, опушённое белою бородою, которая спадала на грудь косицами, карие, живые и смеющиеся глаза и улыбка выражали приветливость и добродушие.

Это и был глава дома, боярин Михайло Алексеевич Ртищев — москвич, одною ногою стоявший в древней Руси, а другую занёсший уже в Русь новую.

— Добро пожаловать, дорогая гостья, — говорил старик и взял Морозову за обе руки. — Что тебя давно не видать у нас?

— Да недосужилось, дядюшка: на Верху²⁰, в мастерских палатах, делов было много, — отвечала молодая женщина.

— Знаю-знаю... Матушка-царица, поди, горы с вами наготовила к святкам всякого одеяния: всю нищую братию приоденете и приобретете.

— Да, точно, дядюшка: государыня царица наготовила-таки милостыни не мало.

— О, подлинно! Она у нас, матушка, великая радетельница... Пошли ей, Господи... Что ж мы тут-то стоим? Иди, Прокопьевна, к нашим гостям...

²⁰ Т.е. во дворце. (Примеч. автора)

— Да как же это, дядюшка? — затруднилась было молодая боярыня.

— Ничего, все свои люди — не мужчины, а попы... Иди-иди, посмотришь наши словесные кулачки, как Аввакум протопоп с Симеоном Полоцким на кулачки дерутся из-за аллилуйи.

Морозова вошла в следующую комнату. Посредине стоял Аввакум в позе гладиатора и, подняв правую руку, запальчиво кричал:

— На, смотри! Когда Мелетий патриарх антиохийский ругался с проклятыми арианами насчёт перстного сложения²¹, то, подъя руку и показа им три перста, щепотью, как вот вы, никонианцы и табашники, показываете и креститесь, — и тогда не бысть ничто же. А как он святитель, сложил два перста, вот так (и Аввакум вытянул вверх сложенные вместе указательный и средний пальцы), и сей перст пригнул вот так — и тогда бысть знамение: огонь изыде... На, смотри!

И Аввакум с азартом подносил пальцы к сухощавому, ещё нестарому монаху, с крючковатым носом, большими еврейскими губами и еврейски-умными, лукавыми глазами. Это был

²¹ Мелетий — епископ антиохийский (ум. в 381 г.), получил этот сан в разгар арианских смут и в течение всей жизни вёл непримиримую борьбу с ересью.

Симеон Полоцкий, недавно приглашённый царём из Малороссии для книжного дела. Ему было не более тридцати пяти лет, но он был худ. Бледное, бесцветное лицо изобличало, что его больше освещала лампада, чем солнце, и что глаза его больше глядели на пергамент, да на бумагу, чем на зелень и на весь божий мир.

— Ты, протопоп, ложно толкуешь Мелетия, — мягко отвечал Полоцкий, — он сложил вот так два перста и к **оним**, а не просто пригнул большой палец — и вышло знамение от троеперстия, а не двуперстия.

Аввакум даже подпрыгнул было, как ужаленный, но, увидав Морозову, так и остановился с открытым ртом, собравшимся было энергически выругаться.

Низко наклонив голову, Морозова подошла к нему под благословение. Аввакум с чувством благословил её. Потом она в пояс поклонилась Симеону Полоцкому и поцеловалась с молодым Ртищевым, с Фёдором.

— Вот, сестрица, — сказал, улыбаясь, Фёдор, — отец протопоп поражает нас, словно Мамаю.

— Да вы злее Мамаю! — по-прежнему горячо заговорил задетый Аввакум. — Все вы, двуперстники!.. А не в ваших ли еретических книгах (снова обратился он к Полоцкому) написано,

будто жида пригвоздили Христа до креста? а?

— Что ж, коли написано? — спокойно отвечал Полоцкий.

— Как что ж! Али крест — живой человек! Вот ежели бы до тебя пригвоздили жида разбойника, так оно было бы так; а то на: Христа — до креста!

— А не всё ли равно до креста или ко кресту?

— Это для вас, хохлов, всё равно, а не для нас... О! да я в огонь пойду за наше ко — оно истинное, и за него я умру.

Аввакум говорил горячо, страстно. Присутствие слушателей, и в особенности Морозовой, подмывало его ещё более, придавало ему крылья. Он был оратор и пропагандист по призванию. Он «кричал слово божие» везде, где только были слушатели, и чем больше была его аудитория, его паства, тем он охотнее выкрикивал слово божие. В Сибири ему не перед кем было развернуться. А Москва — о! это великая аудитория для оратора. В Москве Аввакум не сходил с своего боевого коня.

— А не вы ли, новщики, разлучили Господа с Иисусом! — напал он с другой стороны на Полоцкого.

— Как разлучили? — спросил тот, улыбаясь своими еврейскими глазами.

— Так и разлучили, разрезали Господа нашего Иисуса Христа надвое.

— Я не разумею тебя, — отвечал Полоцкий.

— Да не вы ли на литургии возглашаете: «свят, свят, един Господь и Иисус Христос!» Для чего вы прибавили и, иже? Это всё едино, что «протопоп и Аввакум»: точно протопоп особо, а Аввакум особо.

— А! — несколько злою улыбкою протянул Симеон. — Мы не говорим — «Господь и Иисус Христос», а возглашаем — «Господь Иисус Христос».

— Для чего тут и? Новшество для чего?

— Это не новшество...

— Как не новшество!

— Не горячись, протопоп, выслушай меня...

Ты не знаешь по-еллински и оттого споришь...

— И знать не хочу! Вить святители московские Пётр, Алексей, Иона и Филипп не по-еллински молились, и в их книгах значится — «Господь Иисус Христос», а не «Господь и Иисус Христос»...

— Да постой, потерпи, протопоп! — уговаривал его Полоцкий. — По-еллински не Иисус пишется, а Иисус.

— Знать ничего не хочу! Нам еллина не указ!

— Как не указ? — вмешался было старик Ртищев. — Мы от еллин веру взяли...

— А теперь её хотим испортить, — огрызнулся Аввакум.

— Да как же это так! — удивился Ртищев.

— А вот как, миленькой, — ласково обратился он к старому боярину, — мы из начала веку пели на Пасху: «Христос воскресе из мёртвых, смертью на смерть наступи»... А они как поют? Срам и говорить-то!

— Как срам?

— Да вот как: «смертью смерть поправ»... А! не срамота ли сие? Точно смерть порты али рубахи прала... «Поправ»! Ишь выдумали! «Прать» — «прать» и есть, сиречь «мыть».

— А попирать ногами? — вступился было Полоцкий.

— Да что ты смыслишь с своим хохлацким языком? — снова накинулся на него неудержимый протопоп. — Суйся с своим эллинским языком, куда знаешь, а в наш российский язык с хохлацким не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сделали прачкой, портомоей... «поправ»... Эко словечко! Да вы разрежьте меня на кусочки, а я по-вашему петь не стану — срамота одна!

— Ну, и крепок же ты, протопоп, — задумчиво сказал молодой Ртищев.

— Крепонек Божию помощью...

Морозова и Аннушка Ртищева сидели в стороне и слушали молча. Аввакум, чувствуя себя

победителем, с торжествующим видом обратился к ним.

— Так-то, Михайловна, — сказал он с снисходительной улыбкою Аннушке, — слушаете нас, буюсловов? Слушаете — хлебец словесный кушаете... Не о хлебе едином...

— А что, отец протопоп, разнствует хлеб с опресноком? — перебила его Аннушка.

— Вижу, Михайловна, и ты половина ляховки, — строго заметил протопоп.

Аннушка покраснела и закрыла лицо рукавом. Морозова также вспыхнула — ей стыдно стало за свою приятельницу: ей казалось, что та сделала ужасный, непростительный еретический промах.

— А ещё царских детей учат, чу, — укоризненно обратился неугомонный протопоп к старику Ртищеву, намекая на Полоцкого.

Полоцкий был задет за живое и побледнел. До сих пор он говорил тихо, голоса не возвышал, а отвечал с улыбкой, мягко, чувствуя своё превосходство и сознавая, что с ним состязается мужик, не знающий даже русской грамматики. Что ж с него и спрашивать! Но последние слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкий действительно учил царских детей, и Алексей Михайлович был им доволен, даже сам его расспрашивал о его «планидах» да о разных «комидийных действиях».

— Так не тебе ли с Никитою Пустосвятом да с Лазарем поручить обучение детей пресветлого царского величества? — сказал он, сверкнув глазами.

— А хоть бы и нам! Ересям бы не научили, — огрызнулся Аввакум.

— Да вы, навежды, запятой от кавыки не отличие, «ерок» примете за «оксию», «ису» за «варию»...

— Зато смерть портомоей-прачкой не сделаем, как вы, вежды, делаете то! Сидели бы в своей Хохлатчине да вареники с галушками ели! — снова оборвал протопоп. — А то на! Лазарь, чу...

Лазарь крепок в вере — он истинный учитель²².

— Лазарь ругатель, а не учитель.

— Нет, учитель! Лазарь — истинный вертоградарь церковный, а не суётся царских детей портить... Вот что!

Симеон Полоцкий не вытерпел. Как он ни был сдержан, но и его, наконец, взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал:

— Да какие вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоград своими пяточками

²² Лазарь — известный расколоучитель, священник г. Романова. При патриархе Иосифе вместе с Аввакумом исправлял церковные книги и был устранён от дела Никоном.

изрыли.

Оба Ртищева невольно засмеялись. Старик так и покатился, даже за бока ухватился.

— Ха-ха-ха! Ну, отец протопоп, наскочил же ты на тихоню!.. Ха-ха! пяточками весь вертоград изрыли... Н-ну сказал! — говорил он, не будучи в состоянии удержаться от смеху.

Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.

Аввакум не сразу нашёлся что отвечать — так неожиданно было нападение со стороны «тихони» Полоцкого, и притом нападение в духе самого Аввакума.

— Что ж! — бормотал он, озадаченный нечаянностью. — Ругатели-то не мы с Лазарем, а он, пёс лающий, ему же подобает уста заградить жезлом...

— Ну, и ты, отец протопоп, скор на ответ, — засмеялся молодой Ртищев, — невестке на отместку...

— Не бойся, миленькой, в карман за словом не полезу: в кармане-то пусто, так на языке густо, — самодовольно проговорил несколько опомнившийся протопоп.

— Я не с ветру говорю, — начал, в свою очередь, Симеон Полоцкий, подходя к старику Ртищеву. — Вон его друг, Лазарь, подал царю челобитную, и в ней гниlostными словесы говорит,

якобы в церкви, на ектениях, поминаючи пресветлое царское величество тишайшим и кротчайшим, сим якобы ругаются ему, а «о всей палате и воинстве» он, Лазарь, в челобитной своей гнилословит, якобы здесь говорится не о здравии и спасении царя, его бояр и воинства, а о неких каменных палатах...

— А как же! Палата — палата и есть! — снова накинулся на него Аввакум. — Палата всегда и бывает каменная!

— О, невежда протопоп! — невольно воскликнул Полоцкий. — «Палата» означает всех бояр и близких к царскому величеству особ: се есть образ грамматический и риторский, именуемый синекдохе, еже различными образы бывает, егда едино из другаго коим-либо обычаем познавается.

— Толкуй! Знаем мы ваши синекдохы...

И потом, неожиданно обратясь к Морозовой, которая не спускала глаз со спорящих и даже побледнела от волнения, Аввакум сказал:

— Видишь, Федосья Прокопьевна? они молятся какими-то синекдохами, а я молюсь моему Господу поклонами да кровавыми слезами, — и мне с ними кое общение? — яко свету со тьмою, Христу с Велиаром²³!

23 Велиар — библейское наименование тёмной космической силы, олицетворяющей всяческое бесчестие и

Морозова потупилась, и краска вновь разлилась по её нежному лицу.

— Ах, Дунюшка милая! — говорила она потом вечером своей сестре, Урусовой. — Как страшно они спорили! И разошлись яко пьяни...

Глава VII. ВЪЕЗД БРЮХОВЕЦКОГО В МОСКВУ

Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всею Россиею шибко надломила этого гранитного человека, но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который, сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскалённой железной полосы, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, и силится расшатать её связи, так и Никон, изгнанный из Успенского собора, как оглашённый, как простой поп, затесавшийся не на своё место, лишённый даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскалённого царского скипетра прямо в

сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но потряхнуть и всю русскую землёю.

— Я потряхну ими, потряхну этими бояришками так, что они рассыплется у меня, яко лист жёлтый с осеннего древа, — часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев.

По целым дням сидел он иногда, запёршись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и, постоянно роясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов священного писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом: но потом на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головою, рвал написанное и бросал в печку.

— Не то, не то, — шептал он, глядя на чернеющие и испепеляющиеся листы. — Кому озеро Лач, а мне горький плач... Али и я не сподобился острова Патмоса²⁴?... Нет. Не хочу! Не быть тому!

И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами,

²⁴ Патмос — один из Спорадских островов, куда был сослан апостол Иоанн.

беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном повергаясь на пол и колотясь об пол головою. Но потом снова вскакивал и начинал писать до утомления.

Дни шли за днями однообразно, мучительно, медленно; но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли, яко дни... жизнь прошла яко миг... о, Владыко Всемилоствие!»...

Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения, только иногда разве загремит со своего возвышения: «Не торопись! читай внятно!» — и снова опирается на посох, и снова задумывается.

Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами как в монастыре, так и вне его стен, а теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зелёным бархатом молодых всходов поля, запели птицы, зажужжали пчёлы монастырских бортей, безумно кричали грачи в монастырской роще, — он всё оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места... Он ждал. Вся жизнь его, сон, бодрствование, молитва — всё для него превратилось в ожидание — ожидание острое, саднящее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым.

Часто в город ездили его монахи и, по возвращении оттуда, непременно обязаны были

заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным.

Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его Иванушка Шушера, его крестonosитель, входил к нему не иначе как по зову — когда слышал стук костыля в стену соседней кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то, в хороший весенний день, сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая своё детство, когда, мальчиком, он жил в монастыре Макария Желтоводского и когда кудесник предсказал ему, что он будет «великим государем над царством российским», припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските, с его суровой, почти могильною обстановкою, и пустынножительство своё в Кожеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита

Филиппа ²⁵ , своё могучее патриаршество... Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила своё маленькое гнёздышко. Сначала он хотел было костылём своим уничтожить всю многодневную работу птички, но потом почему-то на мысль ему пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания его целой жизни разметал по ветру чей-то костыль — и он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнёздышка робко высовывалась блестящая, чёрная головка птички с маленькими чёрными глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом... А он так много жертв раздавил на своём веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слёз людских пролито по его непреклонной, безжалостной воле...

²⁵ Филипп (в миру Фёдор Степанович Колычев, 1507–1569) — митрополит московский и всея Руси, протестовавший против опричнины и задушенный по указанию Ивана Грозного Малютой Скуратовым.

Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червячков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этою страдаю маленькой матери... И — странное, невиданное дело! — монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх, в отсутствие ласточки, выносил из своей келий мух в горсти и кормил ими птенцов... Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать, по целым часам безмолвно сидел на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагою.

Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жёг написанного, а прятал за образ Богородицы — «Утоли моя печали», перенесённый им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собою: «Одиннадцатое сентемврия... Память преподобной Феодоры и Димитрия мученика... одиннадцатое... одиннадцатое... подожду одиннадцатого»...

Что же такое могло быть 11 сентября, и почему Никон рассчитывал на этот день?

А 11 сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль земляного города до самой заставы и далее по серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, Охотный и Юхотный ряд, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных чёрных работ — всё это валмя валило за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бранясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же, когда к серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов с своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских, а за ними царские конюхи, которые вели под уздцы царского коня — серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзой, чепрак турецкий, щит золотом волочёный по серебряной земле, седло бархат золотный, — ушми прядёт по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи — несколько сот человек.

Толпы москвичей особенно кучились за земляным городом на расстоянии перестрела. Там, по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными, как стекло, бердышами. Народ напирал на это место колыхающеюся стеною, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне и покрикивая «Назад! осади назад, черти!», проезжал какой-либо окольный или сын боярский, и колотил палкою по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперёд, или просто топтал лошадью, бросая в воздух крепкие, узловатые московские слова, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом — взрывы хохота тех, кому ещё не досталось по лбу или досталось раньше да зажило, забылось.

Когда к этому месту подъехали Желябужский и Богданов с подьячими, конюхами и нарядным царским конём, вдали, по дороге от Серпухова, показалисьдвигающиеся толпы всадников, огромный обоз из карет и повозок, множество конных и пеших, а в хвосте, страшно поднимая пыль, медленно двигались кучи рослых, красивых волов, каких на Москве и не видано.

Выждав сближение этой встречной толпы, Желябужский приосанился на седле и махнул

шитой ширинкой. Толпа остановилась, а к ней от Желябужского поскакал вершник с белою перевязью через плечо. Здешняя толпа понапёрла так, что дрогнули было шпалеры стрельцов, но Желябужский сыпанул на обе стороны, грузно поворачиваясь на седле, такие крупные, как кнут плетёные из междометии слова, что толпа, словно поражаемая картечью, шарахнулась назад.

Встречная толпа подъезжала всё ближе и ближе. Впереди на вороном рослом и широкогрудом аргамаче, гремя серебряным убором, ехал статный, дородный мужчина уже немолодых лет, с чёрными висячими книзу усами и в шапочке с пером, унизанным камнями, которые горели как жар. Южный татарковатый тип лица и лоснившаяся из-под богатой шапочки гладко подбрита голова, кунтуш с расшитою золотом грудью и пурпурными отворотами, в руках серебряная палочка с огромным на конце золотым яблоком, утыканным дорогими камнями и острыми серебряными шипами, словно зубьями огромной щуки, — вот что прежде всего бросалось в глаза народу. За ним — три в ряд, потом два, далее четыре и несколько других рядов на конях — в таких же, как передний, но в менее богатых кунтушах, в шапках с разноцветными верхами, с саблями и перначами в руках — все с усами, а иные с длинными хохлами, закинутыми за ухо. Далее коляска с попом и

монахом. А там — толпы пеших и конных, на возах и при возах, и в заключение — волы с рогами, перевитыми разноцветными лентами.

Народ замер на месте, дивуясь на невиданных людей и на волов в лентах.

Когда самый передний, что с булавой в руке, приблизился к Желябужскому, плотный и румяный, с русою бородою окольниковый медленно сошёл с своего коня, снял шапку и крикнул:

— Есть до тебя войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича с старшиною речь от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малая и Белая России самодержца, и вы бы с лошадей ссели и шапки сняли, — произнёс Желябужский по наказу, медленно, громко, внятно, как на ектенью в церкви.

Все сошли с лошадей и сняли шапки. Поп и монах вышли из коляски и прошли вперёд. Народ также обнажил головы.

— Божию милостию, — продолжал Желябужский тем же церковным тоном, — великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и детич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя тебя, подданного своего, войска запорожского сее

стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого²⁶ с старшиною, велел встретить и о здоровье спросить: здорово ли есте дорогою ехали? Бей челом о земь, — тихо подсказал он.

Брюховецкий поклонился до земли. За ним припала головою к земле вся его огромная свита.

— Божиим произволением здоровы есмы, — отвечал Брюховецкий, подымаясь с колен и встряхивая чубом, который перевесился было на лицо. Поднялись с земли и встряхнули чубами все остальные.

— Кланяйся вдругорядь и благодари! — подшепнул Желябужский.

Брюховецкий поклонился вторично до земли. За ним поклонилась вся старшина; слышно было, как более тучные из них сопели: непривычно им было это московское кланянье — «вот земелька!»

— За спрос о здоровье благодарим премного его пресветлое царское величество, — снова сказал Брюховецкий, вставая на ноги.

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, — снова наладил Желябужский, входя окончательно в роль, — вся Великая и Малая и Белая России самодержец, и

²⁶ Брюховецкий Иван Мартынович — с 1663 по 1668 г. гетман левобережной Украины.

многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и детич, и наследник, и государь, и обладатель, его царское пресветлое величество, жалую тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого, изволил к тебе прислать с своей царского величества конюшни коня, на коем тебе ехать на подворье.

По знаку дьяка стремянной подвёл серого немецкого коня. Конь было заартачился, когда к нему подступил Брюховецкий, фыркнул и поднялся на дыбы; но гетман сразу осадил его и очутился на седле, словно прикованный к нему.

Совершив встречную церемонию, поезд Брюховецкого двинулся в город. По правую руку гетмана ехал Желябужский, по левую — Богданов, все трое в ряд, только конь гетмана выступал вперёд на полголовы. Впереди, топча копытами и разгоняя палками толпу, словно неприятеля, пролагали путь, иногда по трупам москвичей, окольников и дети боярские со стрельцами. За гетманом следовали, кроме переяславского протопопа и гетманского духовника, атаман гетманского куреня, генеральный обозный, генеральный судья, два генеральных писаря, пять писарей канцелярских, атаман писарского куреня, два генеральных есаула и посланцы разных полков, с прислугою 313 человек. Под всеми ими и под

обозом было 670 лошадей — целый огромный табунице. Тут же особо везли в дар царю пушку полковую медную, взятую у казаков изменников, вели дорогого арабского жеребца, покрытого дорогою попоною, и гнали 40 волов чабанских, красоты неописанной, с развевающимися лентами на рогах. Толпы москвичей особенно теснились там, где ехал сам гетман, и в хвосте — где, поднимая облака пыли и меланхолически пережёвывая жвачку, «ремегая», шли красивые волы, словно «девчата», украшенные «стречками». Поезд также замыкали стрельцы, дивуясь на волов и оттесняя толпы. Знакомый уже нам стрелец со шрамом во всю щёку, только руками о полы бился, любуясь волами.

— Уж и волы же, братцы, знатные, степные, словно сами хохлы, — говорил он товарищам.

— Что и говорить! И они, хохлы-те, как есть волами смотрят. Ишь увальни черномазые! Ну, народец! — подтверждали другие.

В таком порядке и сопровождаемый москвичами, толпы которых прибывали как морские волны в бурю, поезд проследовал на посольский двор, который и был оцеплен стрелецкими караулами. Несмотря на то, что любопытных не только не впускали никого на двор, но даже гнали и колотили на улице, москвичи, за неимением в то время других общественных

зрелищ, кроме крестных ходов и кулачных боев, не отходили от посольского двора, стараясь заглянуть в ворота, в окна или просто глядя на крыши, а иногда — что удавалось не всем — на усатую и хохлатую фигуру, показывавшуюся у которого-либо из окон посольского дома.

А в посольском доме и на посольском дворе шла необыкновенная возня с размещением гостей, их прислуги, пожитков, экипажей, лошадей и скота.

Не успели они разобраться, как Желябужский, успевший побывать во дворце, явился оттуда с целою стаею дворской челяди, которая притащила из дворца от государева стола целые горы судков и блюд «с ествою и питьём государевыми». Войдя в главную палату, куда вышел гетман с старшиною, Желябужский поклонился и начал заученную речь:

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец, и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и детич, и наследник, и государь, и обладатель, тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, жалуя, прислал к вам от своего государского стола еству и питье.

Гетман и старшина низко поклонились и благодарили, а дворская челядь тотчас же поставила стол, накрыла его скатертью и стала

ставить на стол яствы и питья по росписи. Золото и серебро так и ломило огромный дубовый стол.

Желябужский, подойдя к столу, налил большой серебряный ковш, как словно сосуд с дарами.

— Чаша великого государя — царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малая и Белая России самодержца, и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчича и дедича, и наследника, и государя, и облаадателя! Дай, Господи, великий государь — царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец, и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и облаадатель, здрав был на многие лета! — провозгласил он и выпил ковш.

Гетман и старшина, повторив «многие лета», также пили из рук Желябужского и потом сели за стол. А Желябужский, сев особо и вынув из-за пазухи бумагу, развернул её и, подав стоявшему около него дьяку, сказал: «Вычти вслух!»

— Великий государь — царь и великий князь Алексей Михайлович, — начал дьяк всё с того же утомительного титула, — всея Великая и Малая и Белая России самодержец, и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалую

подданного своего, сее стороны Днепра войска запорожского гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволил указать подённого корму и питья к выдаче, против посольского, с надбавкою: гетману по хлебу грошевому да по два калача грошевых на день. А старшине по хлебу грошевому да по три калача двухденежных. А людям их по хлебу грошевому да по калачу трехденежному человеку на день. Да гетману ж и старшине — по три гуся живых, по семи гусей битых, по трое утят живых, по семи утят же битых, по десяти зайцев, по десяти тетеревей, по пятидесяти куров живых на День.

Гетман и старшины ели, молча переглядывались и серьёзно слушали. Только нет-нет да и дёрнется у иного ус от сдержанной улыбки.

— Да им же с людьми, — продолжал дьяк, — по яловице живой, по пяти ялович да по четыре стяга битых, по пяти баранов живых, да по двадцати-пяти баранов тушами, по два полтя ветчины на день, по три ведра без полутрети сметаны, по триста пятьдесят штук яиц, по пуду без полутрети масла коровья, по четыре ведра уксусу, по два пуда соли, по чети круп гречневых, по чети гороху, по осмине муки пшеничной, а буде мало — давать по чети; по три ведра молока пресного; на всякую мелочь по четыре гривны на день, а буде

мало — ино давать по полтине. А питья давать им указано...

При слове питья генеральный судья Пётр Забела, чёрный коренастый мужчина, многозначительно переглянулся с сидевшим против него переяславским протопопом Григорием Бутовичем и моргнул усом и левым глазом по направлению к генеральному писарю Захару Шийкевичу, красномордому, с выпуклыми красными же глазами субъекту. Протопоп лукаво улыбнулся. Шийкевич заметил эту улыбку и насупился.

— А питья давать им указано, — продолжал дьяк, — по шести чарок вина двойного на день, да гетману же вопче: по десяти кружек мёду паточного, да по ведру пива сладкого, да по ведру мёду крепкого, да по ведру пива доброго на день. А старшине: по пяти чарок вина доброго, по две кружки мёду сладкого, по две кружки мёду крепкого, по четыре кружки пива доброго человеку на день. А людям их — по три чарки вина человеку, а лучшим людям — по две кружки мёду да по две кружки пива человеку, а достальным по две кружки пива человеку на день.

Дьяк остановился. Все думали, что он уже кончил, а он только передохнул, высморкался и продолжал:

— А в постные дни рыбные ествы указано:

гетману вопче — по щуке живой на пар, по одному лещу, по одному язю на пар, по одной щуке колодке, по щуке ушкой спячей, по полузвену осетрины, по полузвену белужины, по шти гривенок икры на день и с старшиною. Старшине же — по лещику, по невеликому, по две щуки в уши, по два звена осетрины, по два звена белужины человеку на день. Людям же их: на триста блюд рыбы всякой свежей, щук, окуней, язей, плотиц, по два человека на блюдо...

В это время в палату, где кушали гетман с старшиною, вошёл седой высокий боярин, а за ним степенные ключники внесли что-то на огромном серебряном подносе, покрытое тафтою.

— Есть до тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, речь от великой государыни-царицы и великой княгини Марьи Ильишны, и вы б с местов встали, — провозгласил седой боярин.

Все встали. Все невольню с любопытством косились на это что-то, покрытое тафтою.

— Великая государыня-царица и великая княгиня Марья Ильишна, её царское пресветлое величество, — продолжал седой боярин, возвышая голос и поднимая голову, — жалуя тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною,

изволила прислать вам от своего государского стола сладкого — лебедя сахар леденец, и вы б того лебедя рушили и на здоровье кушали.

И по мановению его ключники сняли тафту с подноса. На подносе оказался белый сахарный лебедь, грациозно изогнувший свою длинную шею. Лебедя поставили перед гетманом.

Церемонии с обедом тянулись очень долго, потому что кушаньев было необыкновенное количество. Когда, наконец, украинцы встали из-за стола, генеральный судья Забела, вообще большой охотник до «жарт», показывая переяславскому протопопу на свой почтенный живот, сделал такой жест руками, что, дескать, теперь у меня после московского угощенья хоть железо на брюхе куй.

На это протопоп отвечал из писания: «Не о хлебе едином жив будет человек» — и перекрестил свой рот, памятуя другое писание, что «не сквернит во уста, сквернит из уст».

Глава VIII. СВАТОВСТВО ГЕТМАНА

Через день после приезда гетмана с старшиною в Москву был назначен приём их у великого государя. Приём был большой, почётный — посольский: это — небывалая честь для подданных.

Когда украинцы шли от благовещенской

паперти к Грановитой палате, то перед сенями Грановитой, по красному крыльцу, уступами по обе стороны, стояли жильцы в терликах бархатных и объеринных, человек с шестьдесят. А когда они подошли к самым сеням Грановитой палаты, под шатёр, то в сенных дверях их встретили наряженные к тому стольник и дьяк.

Государь принимал своих чубатых гостей в Грановитой палате, сидя на своём «царском большом месте», на возвышении. Алексей Михайлович был в царском венце, в диадеме и со скипетром в руке. По бокам его стояли рынды, юные, свежие лица которых, не затемнённые даже юношеским пушком на подбородках и над верхними губами, представляли что-то смягчающее, приветливое среди собрания седобородых и просто бородатых бояр, окольников и думных людей, сидевших на длинных скамьях неподвижно, угрюмо, словно истуканы, в своих золотых ферезах.

Гости были спрошены про здоровье с теми же церемониями, как и при встрече, но ещё с большею торжественностью.

— Здорово ли есте живете? — прогремело после царского титула, так, что некоторые из украинцев вздрогнули, а весёлый и жартливый Забела, если б его лично спросили, здоров ли он в этот момент, едва ли бы не сказал, что он нездоров

— так что-то стало ему не по себе от этой пышной, подавляющей обстановки.

Затем повели их к целованию руки. Неровно, неуверенно двигались по ковру, словно бы ступали по горячим угольям, казацкие ноги в красных, голубых и жёлтых «сапьянцах», подходя к «большому месту»; одна за другой, припадая на колено, нагибались бритые, отливавшие синевой и сивизной, головы с хохлами и робко, пересохшими губами, прикладывались к лежавшей на бархатной подушке белой, мягкой и пухлой руке, на которой незаметно было даже жил. Забела, прикладываясь и боясь уколоть эту нежную руку своими щетинистыми усами, которыми он когда-то безжалостно колол розовые губки своей Гали, одно заметил на этой нежной руке — чернильное пятнышко сбоку первого сустава среднего пальца... «Это следы нового закона либо смертного приговора», — промелькнуло в бритой голове генерального судьи.

Потом являли гетманские поминки — представляли привезённые царю подарки: пушку полковую медную, отбитую у изменников казаков, булаву серебряную изменника наказного гетмана Яненка, жеребца арабского и сорок волов чабанских и лентах.

А потом откланивались, проходили по рядам новых бородачей, спускались с лестниц среди

каких-то живых статуй, и только тогда опомнились, когда на площади ярко блеснуло солнце, и показалась синяя даль, тянувшаяся на юг, туда, где цветёт красная Украина...

В это время мимо них проезжала богатая карета, запряжённая шестёркою цугом. Окна кареты были завешаны пунцовой тафтой. Когда карета поравнялась с гетманом, тафта немножко отодвинулась с краю, и из-за неё выглянуло женское личико с розовыми щеками и вздёрнутым носиком. Чёрные глаза гетмана встретились с глазами — не то серыми, не то чёрными, смотревшими из-за тафты, но такими глазами, что гетман невольно попятился...

— Ах, матыньки! — ахнуло это что-то за тафтой — и спряталось.

Гетману весь день потом мерещились эти глаза и слышалось это «ах, матыньки». Мерещилось и на другой день, и на третий, несмотря на то, что дела у него было по горло, так что, наконец, Желябужский, состоявший в приставах при украинских гостях, заметил задумчивость гетмана и спросил о её причинах. Они были наедине.

— Надумал я бить челом великому государю, — только б кто моё челобитье государю донёс? — нерешительно отвечал Брюховецкий, не глядя в глаза своему собеседнику.

— А о чём твоё челобитье? — спросил Желябужский.

— Пожаловал бы меня великий государь — велел жениться на московской девке... пожаловал бы государь — не отпускал меня не жenia, — отвечал гетман потупясь.

У Желябужского дрогнули углы губ, и голубые глаза его прищурились, чтобы скрыть ненужный и излишний блеск.

— А есть ли у тебя на примете невеста? — спросил он.

Гетман вскинул на него глазами, хотел было отвечать, но как бы не решался, потому что в это время у него так и пропело в ушах: «Ах, матыньки!»

— Так нет на примете? — переспросил пристав.

— На примете у меня невесты нет, — отвечал, наконец, застенчивый жених, глядя в окно.

— А какую невесту тебе надобно: девку или вдову?

— На вдове у меня мысли нет жениться... Пожаловал бы меня великий государь — указал, где жениться на девке.

Гетман замолчал. Ему, по-видимому, хотелось что-то высказать, но не хватило решительности, а Желябужский упорно молчал.

— Видел я одну — не знаю девка, не знаю

мужняя жена — когда выходил наемни из дворца, — начал наконец Брюховецкий. — Из кареты глядела...

— А! Занавесь лазоревая тафта? — спросил пристав.

— Лазоревая.

— Знаю. То ехала сенная царицына девка, князя Димитрия Алексеича Долгорукова дочка... Глазаста гораздо?

— Точно, глазаста.

— Так она. Что ж! Девка хорошая и роду честного. Али приглянулась? — улыбнулся хитрый москаль.

— Приглянулась... лицом бела и румяна, — говорил гетман застенчиво.

— Что ж, доложусь великому государю: попытка не пытка, а спрос не кнут.

«Эка! — подумал гетман. — И пословицы-то у них, москалей, страшные какие — кнут да пытка».

— А женьсь, — продолжал он вслух, — стану я бить челом великому государю, чтоб пожаловал меня на прокормление вечными вотчинами поближе к московскому государству, чтоб тут жене моей жить, и по смерти бы моей эти вотчины жене и детям моим были прочны.

Желябужский обещал доложить.

— А ты почём знаешь, что то была Долгорукова дочка? — спросил гетман.

— А наверху у царицы сказывали: испужалась, говорит.

— А чего нас пужаться? (Брюховецкий старался подлаживаться под московскую речь.)

— Уж такое ихнее девичье дело: коли девка испужалась добра молодца, ахнула — это знак, что он ей приглянулся: вот схватит-де да унесёт, — улыбался пристав.

Гетману, видимо, нравились эти слова, и он с удовольствием крутил свой чёрный ус, сожалея только, что в нём пробивалась проклятая седина.

Но у Желябужского в уме было ещё и другое. Он не знал только, как приступить к тому, зачем пришёл и о чём хотел выпытать у Брюховецкого. Дело в том, что сегодня утром в малороссийский приказ привели одного человека, взятого караульными стрельцами в то самое время, когда он старался тайком уйти из посольского двора, где помещался гетман с своею огромною свитою. В то время в Москве из политической предосторожности наистрожайше было соблюдаемо, чтобы в бытность послов или других иноземных гостей на Москве никто из москвичей не ходил на посольский двор, кроме приставленных к тому приставов. Это делалось, конечно, из ложного страха, что эти посетители могут выболтать иноземцам какие-нибудь государственные тайны или же, скорее, нагородить всякого вздору, или, в свою

очередь, могут наслушаться от иноземцев какого-нибудь «дурна», а то и будут подкуплены ими для каких-либо интриг и всякой «неподобной вещи». Для этого в наказах приставам весьма пространно объяснялось, как они должны были вести себя с иноземцами, что делать, что отвечать на все их вопросы. И Желябужскому вменено было, между прочим, в обязанность:

«А буде гетман и старшина учнут тебя, Ивана, спрашивать: как-де ноне великий государь с цесарем римским и с турецким салтаном, и с шахом персицким, и с крымским ханом, и с аглицким, и со францовским, и с дацким, и со свейским короли, и с галанскими владетели? И тебе, Ивану, говорити: цесарь-де римской, и турецкой салтан, и персицкой шах с царским величеством в ссылке, послы-де и посланники меж ими великими государи ходят. А с крымским-де ханом ныне царское величество в миру жив ссылке; только бусурмане-де николи в своей правде не стоят.

«А буде спросят: есть ли-де у царского величества ссылка с папою римским? И тебе, Ивану, говорить: с папою-де римским у царского величества ссылки не бывало и ссылаться-де с ним не о чем».

«А буде учнут спрашивать о иных каких делах, чего в наказе не написано, и тебе, Ивану, ответ держати, смотря по делу, и говорить

остерегательно, чтоб государеву имени было к чести и к повышенью, а в большие речи с ними не входить».

О всех приходящих на посольский двор Желябужскому было наказано: «А того беречь тебе, Ивану, накрепко, с большим остереганием: буде которые боярские люди или чьи-нибудь, русские или полоненники, или немцы, или кто из русских людей придут к посольскому двору и похотят итти на посольской двор, или кто с гетманом или его людьми тайно учнёт о чём говорить, и тебе, тех людей пождав, как от двора пойдут, велеть поймать тайно и присылать в малороссийской приказ».

На этом основании утром и взят был один человек, который приходил зачем-то на посольский двор, и отведён в малороссийский приказ для допроса. В приказе он, по-видимому, показал не все, а говорил, что просился у гетмана, чтоб гетман взял его с собою в Малороссию, что оттуда он хочет пройти к святым местам, но что гетман без царского указа взять его с собой не решается. Задержанный тем более показался подозрительною личностью, что называл себя патриаршим человеком и, в качестве родственника Никона, жил у него в монастыре в числе других детей боярских. Вообще дело это казалось слишком серьёзным — делом большой государственной важности, чтоб не обратить на него внимания.

Вот это-то обстоятельство и нужно было выяснить Желябужскому. Своим полицейским нюхом он угадывал, что тут крылся подвох, тайна, что тут была подсылка со стороны страшного Никона, а для чего — этого от задержанного человека не могли добиться. В руки властей попала ниточка от какого-то большого клубка, и все убеждены были, что клубок этот — там, за стенами Воскресенского монастыря, и прикрыт патриаршим клубком; но ниточка обрывалась в самом начале и до клубка по ней никак нельзя было добраться: обрывалась эта ниточка на посольском дворе, в палате самого гетмана.

И вот Желябужский пришёл ловить у гетмана кончик проклятой нитки.

— А не докучают ли тебе, Иван Мартынович, московские люди? — заговорил он издалека.

— Чем они мне докучать могут? — с удивлением посмотрел гетман.

— А вон все глазеют на вас, черкасских людей.

— А нехай их глазеют, — равнодушно отвечал Брюховецкий, глядя в окно на улицу, на которой действительно толкались москвичи, и несмотря на то, что стрельцы колотили их то кулаками, то прямо алебардами, пялили глаза на посольские окна.

— А то и к вам на двор лезут, — дальше закидывал пристав.

— Нехай лезут.

— А коли что своруют?

— Нет, мои хлопцы не дадут.

— Где не дать! Вон ноне взяли одного: сказывает, патриарший человек... к тебе-де, гетману, приходил... А кто его ведает, с чем он приходил.

— Это точно — приходил один: сказывал, что у святейшего патриарха живёт, и просился со мной, а я ему сказал, что без указа великого государя того мне сделать немочно.

— И то ты, гетман, Иван Мартынович, учинил хорошо, остерегательно, и за то тебя великий государь похвалит, — сказал Желябужский одобрительно. — А за каким делом он просился с тобой?

— Сказывал — на Афон гору похотел идти молиться да в Царьград, да к гробу Господню.

— А не сказывал, что от патриарха?

— Не сказывал.

— Воровское он затеял дело, — сказал, помолчав, Желябужский. — Не своей он волей пришёл, а патриарх его подослал под тебя.

— А для чего? На что я ему?

— Бог его ведает: у великого государя с патриархом остуда учинилась, патриарх с Москвы сшёл самовольно, и того делать ему не довелось.

Гетман задумался. Он тоже сообразил, что

Никон подсылал к нему своего родственника не даром; но с какою целью — он решительно не мог понять. Желябужский понимал более: он видел, что не в гетмане нуждался Никон, что главная цель патриархова посланца — выбраться под покровом гетмана из Москвы; следовательно, у патриарха составилась какой-то план, осуществление которого возможно было вне пределов московского государства. Желябужский, таким образом, напал на след, и по этому следу он надеялся, рано ли, поздно ли, найти то, чего он искал: это-то и должно было совершиться посредством разматывания клубка, который всех беспокоил.

— Так испужал девку? — улыбаясь спросил он, dokonчив нить своих размышлений.

— Испужалась, точно, так и ахнула, — отвечал гетман, тоже улыбаясь.

В тот же вечер во дворце, на царицыной половине, говорили, что гетман сватается за Оленушку, княжну Долгорукую, дочь князя Дмитрия Алексеича. Сватовство это произвело необыкновенный переполох на женской половине. Видано ли, чтобы московская боярышня выходила замуж за черкашенина! Да этого не бывало, как и свет стоит. Между тем слышно, что сам царь был сватом и что отец невесты дал своё согласие.

— А что она, голубушка? — спрашивала Морозова, ученица и поклонница Аввакума,

находившаяся в то время в своей мастерской палате вместе с неразлучною своею сестрою, княгинею Урусовою. — Что Оленушка? — волновалась хорошенькая боярыня, обращаясь к уткоподобной Авдевне, мамушке царевны Софьи.

— Поплакала маленько, родная, — нельзя же, — отвечала мамушка.

В это время вошла в палату, где работала Морозова с сестрой, та самая хорошенькая рожица, что во время шествия гетмана с старшиною из дворца выглядывала в окно кареты из-за пунцовой тафты. Рожица казалась заплаканною. Большие, светлые, не то совсем чёрные, не то серые глаза несколько поприпухли. Морозова бросилась к ней и обняла её.

— Здравствуй, моя глазуня дорогая! — нежно сказала она. — Чтой-то они у тебя, камни-то самоцветы, кажись, заплаканы? — спрашивала она, целуя в глаза пришедшую. — Асиньки?

Пришедшая снова заплакала, уткнувшись носом в плечо Морозовой.

— Ну, полно же, полно, светик! — утешала она. — Мы слышали судьбу твою... Что ж — суженой! А ты только, Оленушка, Богу молись...

— Стерпится — слюбится... На то хмель, чтоб по дубу виться, — философствовала мамушка, — на то дуб, чтоб хмелинушку держать.

Заплаканная девушка, утерев рукавом белой

сорочки слёзы, улыбнулась.

— Да ты-то его, Оленушка, видела? — спросила Урусова, подходя к ней.

— Видела, сестрица, — отвечала та.

— Ой ли! где? когда?

— Онамедни... ехала я от батюшки сюда, — начала была девушка и остановилась, потому что на глазах её опять показались слёзы.

— Ну, ехала? — подсказывала ей Морозова.

— Ехала это я... а они идут... от великого государя шли... руку целовали... А я ехала.

Оленушка опять остановилась.

— Да сказывай же, глазунья! — настаивала Морозова. — Ехала да ехала!

— Ехала я, а они идут...

— Слыхали уж это!

— А я выглянула... а он на меня...

— Ох, батюшки! — испуганно шептала Урусова.

— Ну-ну! Не мешай ты, Дуня, — волновалась Морозова.

— Он и увидал меня.

— А ты его?

— И я его.

— Ну, какой же он из себя?

— Я со страху и не разглядела... чёрный... бритый... глаза...

— А сказывают, он своей земле, у черкас, всё

одно что царь, — заметила Урусова.

— И батюшка сказывал, — подтвердила Оленушка.

— А каким крестом он крестится, милая? — спросила серьёзно Морозова.

— Батюшка сказывал, что по-нашему, — отвечала невеста.

— Ой ли, светик! — усомнилась Морозова. — Вон протопоп Аввакум сказывал, что они, черкасы-то, щепотью крестятся.

— А как же у них, в Кеиве, угодники-то печерские почивают? — усомнилась с своей стороны Урусова. — Коли бы они были не нашей веры, у них бы угоднички не почивали.

— Так и батюшка сказывал, — подтвердила Оленушка.

Видно, что «батюшка» для неё был авторитет неоспоримый: что сказал отец — то свято и верно. Притом же и само сердце подсказывало ей, что не в щепоти дело. Оно билось и страхом чего-то неведомого, и какою-то тайною радостью. Да и то сказать: гетман был и не страшен, как сразу ей показалось; она ахнула от нечаянности и стыда: шутка ли, мужчина, да ещё черкашенин, увидел девку на улице! и девка глазела на него — срам да и только! А она успела заметить, что этот черкашенин молодцом смотрит — такие усы, да бороды нет; а то все бояре, которых она видела, —

все бородатые, и все на батюшку похожи... Только одно страшно — сторона далёкая, незнакомая...

И в голове Оленушки сама собой заняла горькая мелодия свадебного причитанья по русой косе:

Уж вставайте-ко,
мои подруженьки,
Уж вставайте-ко,
мои лебёдушки,
Заплетите-ко мне
русу косыньку,
Русу косыньку,
мелку-трубчату,
Не во сто мне прядей
и не в тысячу,
Заплетите
мелку-трубчату,
Уж впервые ли и в
остаточки...

И Оленушка снова заплакала, закрыв лицо белым рукавом.

В комнату вбежала маленькая царевна и бросилась к Морозовой.

— А я все уроки выучила, и больше выучила, как Симеон Ситианович мне задал, — радостно говорила она. — Завтрее он меня похвалит.

— Вот и хорошо, государыня царевна, — отвечала Морозова, лаская бойкую девочку.

— Ну, так теперь и пастилы можно дать?

— Можно, можно.

Увидав заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась к ней.

— Ты об чём, Оленушка, плакала? — спросила девочка.

Оленушка не отвечала, а только смущённо опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрела на свою мамушку.

— Это ты её? — спросила она.

— Чтой-то, царевнушка! всё я, да я! — защищалась толстуха. — Оленушку замуж отдают.

— Замуж! за кого?

— Вон за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку целовал.

— А! я его видала с переходов — точно лях. И девочка с участием подошла к Оленушке...

— Не плачь, Оленушка, — сказала она, — вон Симеон Ситианович рассказывает: у них, у черкасов, говорит, лучше жить — веселее...

В это время кто-то торопливо говорил у дверей:

— Государыня-царица, государыня-царица идёт...

Глава IX. СМУТА В СОЛОВКАХ

Таким образом, ни 11 сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбудил серьёзные подозрения властей, и хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накиннул сильную тень на самое поведение патриарха. При всём том Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большою живучестью — живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребёнка, злая мачеха столкнула в погреб, и когда он, наэлектризованный фанатическою проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества. Дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в провиденциальность своей судьбы над русскою землею и глубоко веровал, что не люди а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда своею десницею, или

возвести ещё выше. Он ждал только указания свыше — и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов.

Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Он понял только, что провидение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днём, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то и в ожидании занимались текущими делами. Гетман всё оставался в Москве, сватался, а потом собирался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше святок нельзя было и думать о его выезде в Малороссию.

Дни тянулись за днями, как те тяжёлые, свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придёт снова весна, и оно будет не пустое», — думалось ему, и при этом само собой это чёрненькое птичье гнёздышко сопоставлялось с покинутым в Москве патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать.

Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломанными его мощною рукою, далеко рассеянными и присыпанными морозною пылью далёкой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона, отрепьями старины забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому. И Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумом уже ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жёны шли за Аввакумом, как за пророком. Морозова и Урусова — царицены любимицы — стали духовными дочерьми Аввакума. А Никон забывается.

И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу: по всей русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки: и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки — это вечевой колокол всей старой Руси.

Возвращавшиеся из Соловков богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос

кричат:

— По святой Руси ходит ересь пестрозвериная: опестрил тою ересью Никона Арсентий грек²⁷, а Никон опестрил ересью все книги, всю русскую землю. Он-де сам в Успенском соборе каялся народу: окоростовел-де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовели от меня.

Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там ещё в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги никоновского издания. Слухи о присылке «новых» книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда и хочет монастырь разрушить до камня, а братию истребить до последней ноги. В виду такого страшного дела архимандрит созвал «чёрный собор». У всех на лицах выражались ожидание и страх.

Вынесли книги, положили на стол.

— Смотрите, отцы и братия, каковы книги, — зывал архимандрит, — а я уже стар и слеп: может,

²⁷ Арсений Грек по распоряжению царя Алексея Михайловича учредил в 1649 г. школу, в которой русское юношество обучалось греческому и латинскому языкам.

чего не догляжу.

Заскрипели и защёлкали медные застёжки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роятся старцы, усердно, до поту роятся — и литеры-то новые, без загогулин и завитков, и титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своём как будто месте не знаешь, где его искать, как и читать: то «Отче наш» не на своём месте, то в «Богородице» буки не с такою заставкою, то «Помилуй мя Боже» не отыщешь — застряло где-то. Беда да и только! В старых книгах знаешь, где что искать — листы сами открываются там, где захочешь: нужно тебе «Блажен мужа» — он тут как тут, понадобилось «Вскую шаташася» — и оно под рукой. А тут ищи его, а коли найдёшь, так не прочтёшь — литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками...

— Отцы и братия! — кричит один инок. — В символе веры, чу, аз выкинули!

— Этого нельзя! Эти книги не годятся: латынские они! — кричит другой.

Чёрный собор заволновался. Выступили учёные старцы, попы и дьякона.

— Отцы и братия! стойте на старых книгах. По ним мы учены и к ним привыкли, а к новым

поздно привыкать.

— Поздно! поздно! Мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем да и некогда: что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть.

— Долой новые книги! — кричала братия.

— В огонь их, в море!

— Помолчите, отцы и братия! — завопил новый оратор, выступая из толпы. — Дайте слово сказать. Послушайте вы меня, старого: коли попы станут читать и петь по новым книгам, и мы от них причащаться не будем — помрём и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита, придёт какая кручина, либо жестокое повеление, и нам всю братью бить за него челом своими головами, стоять всем за одно до смерти.

— Ладно! Стоять до смерти! — заревел чёрный собор. — Не выдавать архимандрита!

Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слёзы.

— Братия и все православные христиане! — говорил он дрожащим голосом. — Видите, братия, последнее время: встали новые учителя и от веры православной, и от отеческого предания нас

отвращают и велят нам служить на лядских крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! А я на то пошёл — умру за святой аз. Чёрный собор заревел почти в один голос:

— Нам латынской службы и еретицкого чина не надо! Не принимаем! Причащаться от еретицкой службы не хотим и тебя, отца нашего, не выдадим!

Два-три голоса возвысились было в пользу новых книг.

— А! — застонал чёрный собор. — Хотите латынскую еретицкую службу служить! Живых из трапезы не выпустим!

Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы послан был в Соловки спасского ярославского монастыря архимандрит Сергей с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора — привести соловецкую братию к повиновению. Сергей собрал чёрный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимый шум и крики заглушили его слабый голос.

— Указу великого государя мы послушны и во всём ему повинuemся! — выделились отдельные голоса из толпы. — А повеления о символе веры, о сложении перстов, о аллилуйи и новоизданных печатных книг не приемлем.

На скамью встаёт сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают чернецы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своею головою, складывает три первые пальца и кричит неистово:

— Смотрите! это учение и предание латынское, предание антихристово! За два перста я готов пострадать! Ведите меня на муку! Да у вас теперь и главы нет — патриарха, и без него вы не крепки! Горе вам! Последние времена пришли!

Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был снят со скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста... умру за святой аз...»

Сергий, ошеломлённый воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного.

— Со всеми разом говорить нельзя: меня закричать.

— Геронтий! Геронтий! — раздалось со всех сторон. Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступил он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шёл на кулачки.

— Зачем вы у нас Сына Божия отняли? — сразу накинулся он на Сергия.

Сергий испуганно отступил назад, не

понимая, о чём его спрашивают.

— Зачем вы в молитве «Господи Иисусе» отъемлете «Сына Божия»? — продолжал оратор, наступая на оторопевшего посланца царского. — Зачем вы...

Но толпа не дала оратору продолжать: она одно поняла — что с ними делают что-то страшное. «Сына Божия» отнимают.

— Ох! ох! горе нам! — послышался страшный вопль дикарей. — Ох, горе! отымают у нас «Сына Божия»!.. Где вы девали «Сына Божия»?

Когда крики несколько утихли, Сергей хотел было подойти к Геронтию, но тот неистово закричал:

— Не подходи!.. покажи прежде, каким крестом крестишься, и тогда уж и учи нас!.. Допреж сего от соловецкой обители вся русская земля всяким благочестием светилась, и ни под каким зазором Соловецкий монастырь допреж сего не бывал, но яко столп и утверждение и светило сиял. А вы теперь от греков новой вере учитесь, а греческих архиереев самих к нам в монастырь под начал присылают: они и креститься-то не умеют, — мы их самих учим, как креститься.

По собору пронёсся гул одобрения. Сергей видел, что почва под ним колеблется, что не сломить ему сурового противника — и он прибег к страшному средству, после которого должны уже

были заговорить пушки, а не люди.

— Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен ли, благочестив ли, и православен ли, и христианский ли царь? — спросил он.

В свою очередь, Геронтий перед этими страшными словами отшатнулся было назад, но, увидев устремлённый на него взгляд старого Никанора, выпрямился и тряхнул волосами.

— Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен, благочестив и православен, — отвечал он, обводя собрание глазами.

— А повеления его, которые к вам присланы, православны ли? — настаивал неумолимый посланец.

Даже Геронтий на эти страшные слова не знал, что отвечать: как волк, прижатый к стене, он растерянно оглядывался, ища взгляда Никанора. Но Никанор смотрел в землю и упрямо мотал головою.

— Освящённый собор православен ли? — продолжал пытаться Сергий.

— Допреж сего патриархи были православны, а ныне, Бог весть — потому живут в неволе, а российские архиереи православны, — с трудом отвечал Геронтий.

— А которое к вам прислано соборное повеление — и оно православно ли?

— Повеления соборного не хулим, а новой веры и учения не приемлем, держимся предания святых чудотворцев и за их предания хотим все умереть, — был последний ответ старцев.

Сергий вышел из собора, окружённый монастырским караулом, словно арестант. Ему не позволяли даже в монастыре ночевать, а вместе с прибывшими с ним из Москвы посланцами вывели на остров и посадили под стражу. Когда его выводили из монастырских ворот, то собравшиеся там из окрестных усольев и посёлков мужики громко говорили:

— Которые московские стрельцы теперь здесь в монастыре, и тем мы свой указ учиним, — перебьём и перетопим, и которые за монастырём в ладьях, и тех перетопим, будто морем разбило... Всех побьём камнем, потому посланы они от антихриста прельщать нас.

На соборе между тем, в трапезе, готовилось челобитье к царю. Когда оно было кончено, Геронтий встал на скамью и начал громко читать.

— Бьют челом богомольцы твои государевы: Соловецкого монастыря келарь Азарий, бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казначей Ворсонофий, священники, дьяконы, все соборные чернецы и вся братия рядовая и больнишная, и служки и трудники все. Прислан с Москвы к нам архимандрит Сергий с товарищи

учить нас церковному преданию по новым книгам, и во всём велят последовать и творить по новому преданию, и предание великих святых апостолов и святых отец семи вселенских соборов, в коем прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Савватей и Герман²⁸, и преосвященный Филипп митрополит пребывали, ныне нам держаться и последовать возбраняют. И мы, худые богомольцы твои и холопишки, чрез предания святых апостолов и святых отец священные уставы и церковные чины пременять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона патриарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Иисуса нашего с приложением лишней литеры Иисус, чего страшно нам грешным неточию приложите, но и помыслити...

— Ох! — слышалось в толпе. — Иже приложили ко Иисусу... Ох, страшно!..

— Ох! ижем Христа прободали в ребра: иже есть копие! — провозгласил Никанор.

— Милостивый государь! — продолжал,

28 Зосима и Савватий — основатели Соловецкого монастыря (1429), причисленные к лику святых русской православной церкви.

Герман преподобный соловецкий, по кончине Савватия (1425), подвизался в Соловках с преподобным Зосимою.

воодушевляясь и потрясая в воздухе челобитною, Геронтий. — Помилуй нас нищих своих богомольцев и холопишек, не вели архимандриту Сергию прародителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы, Савватаея, Германа и Филиппа предания нарушать, и вели, государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врозь не разбрестись и твоему богомолию украинному и порубежному месту от безлюдства не запустеть.

— Припиши, — кричал Никанор, — за предание-де великих чудотворцев готовы мы с радостию наглуую смерть принять, и многие-де старцы, готовясь на тот вечный путь, посхимились...

— Припиши! припиши! — подтвердили десятки голосов.

— Ещё припиши, — настаивал упрямый Никанор, — вели-де, государь, на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие!

В таком положении стояли дела на далёком севере, когда Никон, которого считали виновником всех этих небывалых и неслыханных дотолер церковных смут, охвативших не только соловецкое поморье, но и Москву, где народ, торговые люди и бояре почти все отшатнулись от духовных властей своих, а Аввакум до ослепления разжигал народные страсти своею жгучею проповедью, — когда Никон

вдруг узнал, что в Москву прибыли гости, которых он всего более боялся. Это были вселенские патриархи — Макарий антиохийский и Паисий александрийский, он же и «судия вселенной».

Наступил суд над Никоном.

Глава X. СУД НАД НИКОНОМ

Первого декабря 1666 года, едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу осветило островерхие крыши кремлёвского дворца и брызнуло золотом по маковкам церквей и по разрисованному морозом стеклу дворцовых окон и стеклянных переходов, как уж во дворце, в столовой избе, собрался небывалый дотоле и после того в России вселенский собор — царь, два патриарха, митрополиты, архиереи и весь синклит духовных и светских властей. Алексей Михайлович сидел на своём государевом месте, на небольшом возвышении, под сению золотого двуглавого орла, на крыльях которого играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко, золотя в то же время левый, уже посеребрённый редкою седью висок и часть заиндевевшей тою же назойливою седью русой, мягкой, как шемаханский шёлк, бороды. Тишайший царь сидел задумчиво, глубоко сосредоточенно и так неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображение,

если б тихое, равномерное поднятие и опускание висевшего на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышит. Подле него, по левую руку, в глубоких с высокими резными спинками креслах сидели патриархи. У ближайшего к царю, высокого, худого и согбенного годами, тёмно-пергаментное лицо смотрело из-под надвинутого до бровей клобука не как лицо, а как лик на старом полотне, выцветший от времени, тронутый непогодью и копотью от свечей и ладана. Неровные пряди волос желтоватой седины и белая борода, освещённые косыми лучами солнца, несколько дрожали на чёрном фоне клобука и панагии, производя странное впечатление — как будто бы волосы эти дрожали на мёртвом теле от постороннего дыхания, тем более что и глаза сидящего, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкою, синеватою кожицею век, с которых, казалось, только что сняты были медные гроши — принадлежность новопреставленного. Это был Паисий, патриарх Александрии и всего Египта — некогда земли фараонов. Рядом с ним в таком же кресле восседал антиохийский патриарх Макарий. Чёрные, курчавые, перевитые седыми прорезьями, как серебряною тонкою нитью, волосы, чёрная, курчавая, как давно не стриженная баранья шерсть, с проседью борода, большие синеватые белки чёрных, подвижных глаз с длинейшими

ресницами, тёмно-оливковый цвет лица — всё изобличало в нём восточного человека, которого как-то странно было видеть не на берегу Иордана где-нибудь или Мёртвого моря, а на берегах Яузы, среди чисто московских лиц и в этой типичной обстановке.

С правой стороны царя, на застланных сукнами скамьях сидели митрополиты, архиереи и весь освящённый собор. Чёрные клобуки, надвинутые на худые и строгие лица, чёрные рясы, кресты и чётки — всё это смотрело мрачно и внушительно, как картина страшного суда. Тут и Сергей спасаярославский, которого мы недавно видели на чёрном соборе в Соловках, и Павел суздальский, и Павел сарский, и Питирим новгородский.

По левую сторону от царя, на скамьях же, бояре, окольник и думные люди — всё, что заправляло московскою землёю от Пскова до Албазина на Амуре, от Соловков до южного рубежа русской, всё шире и шире разлетающейся территории. Тут были лица большею частью хорошо упитанные, гладкие, бородатые.

За особым столом — дьяк Алмаз Иванов. Горы бумаг, книг и потемневших от времени свитков почти всего его закрывают собой. И лицо его, такое же жёлтое, как эти свитки, смотрит спокойно, только изредка щурятся его усталые

глаза, перечитавшие все эти горы бумаги и перенёсшие в его глубокую, как бездонная пропасть, память тысячи мельчайших подробностей дел, статей разных, уложений, указов, отписок, справок, памятей. Худыми, привычными пальцами он держит белое, как снег, гусиное перо и неслышно водит им по бумаге.

Тихо в избе. Собор ждёт кого-то. Кого же больше ждать, как не того, кого собрались судить вселенне! В полночь он въехал в Москву и проследовал в Кремль Никольскими воротами, которые тотчас же за ним и заперли, поставив сильную стражу и разобрав даже мост, соединявший эти ворота с городом. Так вот, какого страшного подсудимого ждёт вселенский собор!

Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные, сильные шаги. Звякнули алебарды стрельцов, стоявших у входа. Какое-то невольное движение, словно дрожь, прошло по собору, как будто бы в тихий ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бегучую тень по высокой траве. Глаза всего собора обратились к входным дверям — обратились с каким-то страхом, полные ожидания. И глаза царя блеснули неуловимым светом, и закрытые веками глаза Паисия патриарха открылись, словно бы икона глянула с тёмного полотна человеческими глазами, и глаза дьяка

Алмаза Иванова поднялись от бумаги.

Двери распахнулись широко, на обе половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятие, несомое перед патриархом. За распятием вошёл и тот, кого звали на суд. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидели того, кто вошёл. Это всё был тот же прямой, суровый на вид, массивный человек, которого так часто когда-то, около десяти лет назад, видела Москва на всех торжественных служениях, в церковных ходах и в царской думе, и перед взором которого всё склонялось и трепетало; тот же повелительный вид, те же повелевающие глаза, только по всему этому прошло что-то разрушительное, пригибающее к земле, вытравливающее живой цвет лица, задувающее огонь глаз, обесцветившее до седины воронёный волос головы и бороды.

В добрых глазах царя блеснула жалость — веки задрожали... Это ли его бывший «собинный» друг, его любовь и гордость!..

При виде распятия и вошедшего за ним подсудимого весь собор стал на ноги.

— Владыко Господи Боже наш! благослови вход раба твоего и отверзи уста его, да возвестят хвалу твою — всегда ныне и присно и во веки веков! — громко возгласил вошедший.

Потом, обратясь лицом к царю, он поклонился

ему до земли. Царь испустил глубокий вздох, увидав, как у поклонившегося ему разметались по полу поседевшие волосы. Поклонившийся встал и, откинув назад упавшие ему на лицо волосы, вторично припал клобуком к царскому подножию. Царь крепко стиснул челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившийся, приподнявшись вторично от полу, в третий раз поклонился.

Сделав полуоборот к патриархам, он и им поклонился до земли дважды. За всеми его движениями жадно следили глаза всего собора, а узкие серые глазки Питирима, митрополита новгородского, каждый поклон Никона сопровождали злорадным блеском²⁹.

Когда Никон поднялся, наконец, от полу, расправляя волосы, на лицо его, бледное и бесцветное, как у арестанта, набежала краска. Патриархи, в свою очередь, глубоко нагнули головы, а потом глазами указали на лавку, по правую сторону государева места.

Глянув в ту сторону, Никон сразу понял, что его приравнивают к простым архиереям, что особого места для него не приготовили. Зловещая

²⁹ Питирим во время суда над Никоном являлся одним из злейших врагов и грубейших обвинителей патриарха, надеясь после его свержения занять патриарший престол.

искра блеснула в его глазах.

— Я места себе, где сесть, с собою не принёс... Разве сесть мне тут, где я стою, — сказал он хрипло, с дрожью в голосе, и оперся на свой посох, глядя прямо в глаза государю.

И добрые глаза последнего блеснули: та искра, что зажглась в глазах у Никона, зажглась и у царя. Питирим незаметно толкнул локтем соседа своего, Павла, митрополита сарского, и указал глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова закрипело по бумаге, спеша запечатлеть чернилами навеки этот исторический момент.

— Пришёл я узнать, для чего вселенские патриархи меня звали? — продолжал подсудимый тоном допрашивающего, тоном судьи, и снова вопрошающе посмотрел на государя.

Алексей Михайлович порывисто сошёл с своего места, путаясь ногами в своём длинном одеянии, и стал перед патриархами, как бы ища укрыться под их святынею.

— Святая и пречестная двоице! вселенстии патриаоси! — заговорил царь дрожащим голосом, неровно, торопливо. — От начала московского государства соборной и апостольской церкви такого бесчестья не бывало, как учинил сей бывший патриарх Никон: для своих прихотей, самовольно, без нашего повеления и без соборного совета

церковь оставил, патриаршества отрёкся, никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились, церковь вдовствует без пастыря девятый год... Допросите бывшего патриарха Никона: для чего он престол оставил и ушёл в Воскресенский монастырь?

Царь стоял, как подсудимый, и ждал ответа. Пока патриархи через переводчика хотели только было обратиться к Никону за этим ответом, как он оборвал их:

— А есть ли у вас совет и согласие с константинопольским и ерусалимским патриархами, что меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому — хиротонисан я от константинопольского патриарха.

Из-за груды бумаг выдвинулась тощая фигура дьяка Алмаза Иванова и неслышными шагами приблизилась к патриархам. В руках у Алмаза было два свитка, перевитые чёрными лентами, как две погребальные свечи.

— Вот полномочие остальных вселенских патриархов, — сказал Макарий, дотронувшись до одного из свитков.

Тогда Никон попятился назад и в первый раз оглянул судилище, подобно тому, как застигнутый врасплох ищет, куда ему скрыться. Глаза его остановились на Питириме новгородском и на его соседе, Павле сарском; глаза последних смотрели с

вызывающим торжеством... Никон задрожал...

— Великий государь и святейшие патриархи! — быстро повернулся он. — Бью челом... пожалуйста меня, и вышлите из собора недругов моих Питирима и Павла; они мыслили зло на меня, хотели меня отравить либо удавить и для того с чаровством прислали чернеца Федоса.

— И то он говорит ложь безлепично, — возразил Питирим, вставая разом с Павлом, — у великого государя о чернеце Федосе есть дело.

И опять из-за бумаг выделяется фигура дьяка Алмаза Иванова. Он подносит к государю дело и с глубоким поклоном подаёт его. Царь показывает это дело патриархам.

— Ответствуй, — повторили патриархи, — для чего ты отрёкся от патриаршества?

— Я не отрекался, а сшёл с престола своею волею, не стерпя обид: царёв слуга, Хитрово, бил моего человека без вины, и того ему, Хитрово, делать не довелось — то мне бесчестье, потому — человека своего я послал по делу, для строения церковных вещей. А когда я просил у великого государя обороны, и великий государь обороны мне не дал, — защищался подсудимый, всё более и более возвышая голос.

— Никон писал ко мне и просил обороны от Хитрово не вовремя: в ту пору обедал у меня грузинский царь, и в ту пору розыскивать и

оборону давать было некогда, — был ответ царя.

Странный, небывалый вид представляли эти судебные прения. Высшая власть в государстве, царь и патриарх, стояли среди многочисленного собора, разделяемые распятием и крестоносителем, а весь собор сидел, безмолвно следя за словами и движениями царя и подсудимого: последний был бледен, как полотно, у первого — краска не то стыда, не то негодования заливала щёки.

Царь чувствовал, что ответ его слаб.

— Никон патриарх говорит, — поспешил он поправиться, — будто человека своего прислал для строения церковных вещей, ино в ту пору на красном крыльце церковных пещей строить было нечего, и Хитрово зашиб его человека за невежество, что пришёл не вовремя и учинил смятение, и то бесчестье к Никону патриарху не относится и та обида ему не в обиду. А что не было моего выходу в праздники, и то учинилось так за многими государственными делами. А когда он сшёл с престола, и я посылал к нему боярина князя Трубецкого и Родиона Стрешнева, чтоб он на свой патриарший стол возвратился, ино он от патриаршества отрекался — сказал: как-де его на патриаршество обирали, и он-де на себя клятву положил — быть-де на патриаршестве токмо три года. А что посылал я князя Юрия Ромодановсково, чтоб он напредки великим государем не писался, и

то я учинил для того, что прежние патриархи так не писывались, ино того к нему не приказывал, что на него гневен.

Услыхав своё имя, Ромодановский, тучный и красный, как кумач, боярин, торопливо поднялся с лавки и, не спуская глаз с царя, быстро выпалил: «Это точно... о государевом гневе я не говаривал».

Никон вполуоборот глянул на него, но ничего не сказал.

— Говорил ты про обиды; какие обиды тебе от великого государя были? — продолжал допрашивать Макарий, тогда как Паисий безмолвно перебирал свои чётки. — Какие обиды?

— Никаких обид не бывало; но когда он (и Никон спохватился и тотчас же поправился) — когда великий государь начал гневаться и в церковь ходить перестал, в ту пору я патриаршество оставил.

Царь нетерпеливо пожал плечами, не глядя на подсудимого.

— Он писал ко мне по уходе, — начал он снова, — «будешь-де ты, великий государь, один, а я-де, Никон, как один от простых».

— Я так не писывал, — был отрывистый ответ. Тогда Макарий, обратясь к архиереям, спросил:

— Какие обиды были Никону от великого государя?

— Никаких обид не было, — отвечал Питирим за всех

— Я не об обидах говорю! — огрызнулся на него Никон, медленно, как волк, полуоборачивая свою негнущуюся, как у волка же, шею. — Я говорю о государевом гневе! И прежние патриархи от гнева царского бегали — Афанасий Александрийской и Григорей-Богослов³⁰...

— Другие патриархи, — перебил его Макарий, — оставляли престол, ино не так, как ты отрёкся, что впредь не быть тебе патриархом: если-де будешь патриархом, то анафема будешь.

— Я так не говаривал, — защищался подсудимый, — а говорил я, что за недостойнство своё иду; а коли б я отрёкся от патриаршества с клятвою, и я не взял бы с собою святительской одежды.

— Когда ставят в священный чин, то говорят «достоин». А ты, как святительскую одежду снимал, то говорил: «недостоин», — настаивал

³⁰ Афанасий, архиепископ александрийский, был активным обличителем арианской ереси. В 336 г. осуждён на изгнание и, по бездоказательным наветам своих противников, сослан в Трир.

Григорий Богослов в 379 г. был назначен епископом константинопольским для укрепления в столице Византии православия.

Макарий.

— Это на меня выдумали, — был ответ.

— Никон писал в грамотах своих к святейшим патриархам на меня многие бесчестья и укоризны, а я на него ни малого бесчестья и укоризны не писывал, — продолжал царь, — допросите его: всё ли он истину, безо всякого прилога, писал? За церковные ли догматы он стоял? Иосифа патриарха святейшим и братом себе почитает ли, и церковные движимые и недвижимые вещи продавал ли?

— Что я в грамотах писал — то писал! — нетерпеливо отвечал подсудимый. — А стоял я за церковные догматы... Иосифа патриарха почитаю за патриарха, а свят ли он — того не ведаю; а церковные вещи продавал я по государеву указу...

Царь обвёл взором всё собрание и остановился на Алмазе Иванове.

— Поставь пред собор колодника, — сказал он тихо, но так, что весь собор слышал его слова.

Алмаз Иванов поднялся и неслышными шагами вышел в сени. Все смотрели ему вслед в немом ожидании и страхе. Никон ближе подвинулся к распятию и поднял на него глаза. Питирим что-то шептал своему соседу, показывая глазами на подсудимого.

В сенях послышались шаги, сопровождаемые глухим звяканьем кандалов. Все в недоумении переглядывались.

Скоро дверь растворилась, и в соборную избу вошёл кто-то, закованный в железа по рукам и по ногам. Лицо его носило следы тяжкого изнурения. Увидав Никона и распятие, он упал ниц, зазвенев кандалами. Никон вздрогнул и пошатнулся: он узнал колодника.

То был племянник его — Федот Марисов.

Глава XI. «МАМАЙ В РЯСЕ»

Когда гетман Брюховецкий отказался взять Марисова с собою в Малороссию, откуда этот тайный посланец Никона должен был пробраться в Константинополь к тамошнему патриарху Дионисию, с грамотою Никона и с воззванием к всем патриархам о разборе его распри с царём, любимец Никонов и его ставрофор, Ивашко Шушера, подкупил одного казака за 50 рублей и за пятьдесят золотых — взять с собою Марисова в число прочей свиты гетмана, якобы своего родственника, взятого москалями в плен во время похода воеводы Бутурлина на Львов³¹. Марисов,

³¹ Бутурлин Василий Васильевич — окольный царя Алексея Михайловича, в 1655 г. соединился в Белой Церкви с украинскими казаками и 18 сентября одержал блестящую победу над поляками, пленив при Солнигородке коронного гетмана Потоцкого.

ником не узнанный, в январе 1666 года выехал из Москвы вместе с Брюховецким и благополучно достиг Малороссии; но в Москве скоро проведали об этом тайном агенте Никона, и к Брюховецкому послан был гонец с наказом — схватить Марисова. Марисов был схвачен и переслан под караулом в Москву вместе с грамотами Никона.

Всё это сделано было в глубочайшей тайне, и Никон ничего не знал, какая судьба постигла его посланца и его грамоты. А в грамотах этих он не поспешил на сильные выражения, на серьёзные обвинения, падавшие лично на царя и на его управление.

Вот почему появление Марисова в соборной избе так поразило Никона. Ему казалось, что он видит перед собою призрак. Да Марисов, изнурённый заключением, пытками и душевными страданиями, и смотрел призраком.

Царь сделал знак Алмазу Иванову. Тот подошёл и подал какие-то бумаги.

— Твои это грамоты? — спросил царь, показывая их Никону.

— Мои, — мрачно отвечал тот.

Марисов поднялся с полу и, снова припав к земле, поцеловал край одежды Никона.

— Грамоты эти ты от Никона получил? —

спросил царь Марисова. Тот молчал. — Говори! — повторил царь.

— Прикажи меня казнить, великий государь, а на святейшего патриарха я свидетельствовать не стану, — сказал Марисов с силой. — Отсохни мой язык!

— Скажи одно: кто тебе дал эти грамоты? — настаивал царь. — Скажи — я тебя помилую.

— Не скажу! Загради, Господи, уста мои! — как-то выкрикнул упрямец. — Сокруши гортань мою!

Никон широко перекрестил его и снова оперся на посох. Царь сделал нетерпеливое движение.

— Уведите его! — сказал он, ни на кого не глядя.

Марисова увели. Царь передал бумаги Алмазу Иванову, который, сев на своё место, снова заскрипел пером.

— Чти Никоновы писания! — громко сказал Алексей Михайлович.

Алмаз Иванов, заткнув перо за ухо, стал читать. Трудно было ожидать, чтобы в таком тщедушном теле сидел такой здоровый голос. Он читал грамоту Никона к константинопольскому патриарху. В грамоте подробно описывалось, как его, Никона, силою избрали на патриаршество, как насильно привели в собор, как царь, вместе со всем московским народом, кланяясь до земли и слёзно

плача, умолял его, Никона, принять патриаршество, как он, наконец, решился принять посох Петра митрополита с условием, чтобы все его слушались, как начальника и пастыря, как царь сначала был благоговеен и милостив и во всё заповедей божьих искатель, а потом начал гордиться и выситься.

Собор безмолвствовал. Гремел только ровный, звучный голос Алмаза Иванова. Царь стоял потупившись, а Никон держал голову прямо, не спуская глаз с распятия. По лицу Питирима, как змейка, пробежала злая усмешка.

— «Послан я, — звучал голос Алмаза Иванова, — в Соловецкий монастырь за мощами Филиппа митрополита, которого мучил царь Иван несправедливо»...

— Постой! — перебил чтение государь.

Алмаз Иванов умолк. Все взоры обратились на царя.

— Для чего он, — обратился последний к патриархам, — для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васильевичу написал, а о себе утаил, как он низверг без собора Павла, епископа коломенского, ободрал с него святительские одежды и сослал в Хутынский монастырь, где его не стало известно ³² ...

32 Павел — епископ коломенский, единственный из

Допросите его, по каким правилам он это сделал?

— По каким правилам я его низверг и сослал — того не помню, и где он пропал — того не ведаю... Есть о нём на патриаршем дворе дело, — поторопился подсудимый.

— На патриаршем дворе дела нет и не бывало. Отлучён епископ Павел без собора, — с своей стороны поторопился Павел, митрополит сарский.

Никон ничего не возражал. Он только сильнее налёг на посох, как бы желая им пронзить помост соборной избы.

А Алмаз Иванов продолжал вычитывать, как по покойнике:...«и учал царь вступаться в архиерейские дела»...

— Допросите: в какие архиерейские дела я вступался? — снова прервал чтение Алексей Михайлович, обращаясь к патриархам.

— Что я писал — того не помню, — отвечал Никон.

— «Оставил патриаршество, не стерпя гнева и обиды», — вычитывал дьяк Алмаз.

— Допросите: какой гнев и обида? — прервал царь.

— На Хитрово не дал обороны, в церковь

иерархов русской церкви, во время возникновения раскола принявший сторону старообрядцев.

ходить перестал... Государев гнев объявлен небу и земле, — уже начинал кричать подсудимый.

Патриархи остановили его движением.

— Хотя бы Хитрово человека твоего и зашиб, и тебе то терпеть бы и последовать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел, — наставительно сказал Макарий (Паисий всё молчал и изредка взглядывал то на царя, то на Никона). — А если б государев гнев на тебя и был и тебе бы о том с архиереями посоветоваться следовало, и к великому государю посылать — бить челом о прощении, а не сердиться.

Раздался чей-то голос с дальней скамьи. Все оглянулись и увидели рыжую голову, которая усиленно моргала.

— В ту пору я царский чин исполнял, — говорила, заикаясь, рыжая голова (это был Хитрово), — и в ту пору пришёл патриархов человек и учинил мятеж, и я его зашиб не зная, а в том у Никона патриарха просил прощения, и он меня простил.

За Хитрово осмелились и другие. Разом послышалось несколько голосов со всех сторон.

— От великого государя Никону патриарху обиды никакой не бывало, пошёл он не от обиды — с сердца! — кричали с боярской стороны.

— Когда он снимал панагию и ризы, то говорил: «аще помыслю в патриархи, анафема

буду!»! Панагию и посох оставил, взял клюку, а про государев гнев ничего не говорил! — кричала архиерейская сторона.

Все кричали, все усердствовали. Никон, как затравленный волк, только озирался. Но не в его характере было молчать, когда кричали другие.

— Я вас перекричу! — раздался вдруг его резкий, как удар хлыста, голос.

Паисий, сидевший с опущенными глазами, быстро вскинул ими на подсудимого и тихо сказал:

— Никон!

Никон опомнился.

— «Написана книга уложение, — продолжал вычитывать Алмаз Иванов из письма Никона к константинопольскому патриарху, — книга, святому евангелию, правилам святых апостолов, отец и законам греческих царей во всём противная... всех беззаконий, написанной в этой книге, не могу описать — так их много! Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтоб её искоренить, но, окромя уничтожения, ничего не получил, и меня же хотели убить».

— Постой! — остановил чтеца Алексей Михайлович. — К сей книге, — обратился он потом к Никону, — приложили руки патриарх Иосиф и весь священный собор, и твоя рука приложена...

— Я руку приложил поневоле, — огрызнулся подсудимый.

— «Боярин Семён Лукьянович Стрешнев, — читал Алмаз, — научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и называл собаку Никоном патриархом: мы, услыжав о таком бесчинии, клятве Семена предали...»

Тонкая улыбка скользнула по губам Макария.

— И того тебе, Никон, делать не довелось, — сказал он. — Если б мышь сгрызла освящённый хлеб, нельзя сказать, что она причастилась; так и благословение собаки не есть благословение... Шутить святым делом не подобает, но в малых делах недостойно проклятие, понеже считают его за ничто.

Когда Алмаз Иванов дочёл до того места письма, где говорилось о приезде к Никону князя Одоевского и Паиси я Лигарида, царь остановил чтение.

— Митрополит и князь, — сказал он, — посланы были выговаривать ему его неправды, что писал ко мне со многими бесчестием и с клятвою, мои грамоты клал под евангелие, позорил газского митрополита, а тот свидетельствован отцом духовным, и ставленная грамота у него есть.

— Я за обидящего молился, а не клял, — отвечал Никон. — Газскому митрополиту, по правилам, служить не следует, потому — он епархию свою оставил и живёт в Москве долгое

время... Слышал я, что он ерусалимским патриархом отлучён и проклят. У меня много таких мужиков шляется³³... Мне говорил боярин князь Никита Иванович Одоевский государевым словом, что меня зарежут...

При этих словах Одоевский вскочил с места.

— Таких речей я не говаривал! — протестовал он. — А Никон мне говорил: «коле-де хотите меня зарезать, то режьте» — и грудь обнажал.

Вмешался в спор и Алмаз Иванов, но осторожно:

— Когда Никон, по вестям о неприятеле, приезжал в Москву, то мне говорил, что от престола своего отрёкся.

— Никогда не говорил! — огрызнулся на него Никон. Алмаз Иванов опять уткнулся в бумагу и читал из письма Никона, будто царь посылал к патриархам многие дары.

— Я никаких даров не посылавал, — прервал его царь, — писал, чтоб пришли в Москву для усмирения церкви; а ты (это к Никону) посылал к ним с грамотами племянника своего и дал черкашенину много золотых.

— Я черкашенину не давал, а дал племяннику на дорогу.

³³ См. примеч. 9.

По знаку царя Алмаз Иванов опять начал читать. Дочёл до того места, где Никон говорил о своём неудачном ночном приезде в Москву и о высылке его из Успенского собора.

— Никон приходил в Москву никем не званный, — пояснил царь, — и из соборной церкви увёз было Петра митрополита посох, а ребята его отрясали прах от ног своих. И то он какое добро учинил? И ребята его какие учителя, что так учинили?

— Ребята прах от ног своих как отрясали — того я не видал; а как приезжали за посохом в Чернёво, то меня томили, а иных хотели побить до смерти.

— До смерти побивать никого не было велено и не биты, — защищался царь.

И снова возобновлялось утомительное чтение Алмаза Иванова. А царь и Никон все стояли; царь, видимо, был утомлён. Патриарх Паисий по временам как бы задрёмывал, и только сухие пальцы его, тихо водившие по чёткам, изобличали, что он не спит.

— «Которые люди за меня доброе слово молвят или какие письма объявят, — читал Алмаз, — и те в заточение посланы и мукам преданы: поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен, строитель Аарон сослан в Соловецкий монастырь...»

— Никита, — оправдывался царь, — ездил от Никона к Зюзину с ссорными письмами, сидел за караулом и умер своею смертию от болезни. Сысой, ведомый вор и ссорщик, и сослан за многие плутовства... Аарон говорил про меня непристойные слова и за то сослан... Допросите: кто был мучен?

— Мне о том сказывали...

— Ссорным речам верить было ненадобно и ко вселенским патриархам ложно не писать.

Никон смолчал. Дьяк Алмаз продолжал:

— «Архиереи по епархиям поставлены мимо правил святых отцов, воспреещающих переводить из епархии в епархию...»

— Когда Никон был на патриаршестве, — опять прервал царь, — то перевёл из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и других многих от места к месту переводил.

— Я то делал не по правилам — по неведению.

— Ты и сам на новгородскую митрополию возведён на место живого митрополита Авфония, — некстати вмешался Питирим.

— Авфоний был без ума... Чтоб и тебе также обезуметь! — громыхнул его Никон как бы наотмашь.

Многие так и подпрыгнули на скамьях от этого окрика. Паисий глянул строго и зачастил

чётками. Питирим как ошпаренный не нашёлся, что отвечать, и только бормотал: «Это кабан бешеный... Мамай в рясе... Господи!..» Царь покраснел, и краска всё более и более заливала его щёки по мере того, как Алмаз Иванов читал далее. А он читал:

— «От сего незаконного собора престало на Руси соединение с восточными церквами, и от благословения вашего отлучились, от римских костёлов начаток прияли волями своими...»

— Стой! стой! погоди! — порывисто заговорил царь, повелительно поднимая руку. — Никон нас от благочестивой веры и от благословения святейших патриархов отчёл, и к католицкой вере причёл, и назвал всех еретиками! Что ж это такое?! Только бы его, Никоново письмо, до святейших вселенских патриархов дошло, и нам бы всем, православным христианам, быть под клятвою, и за то его ложное и затейливое письмо надобно всем стоять и умирать, и от того очиститься.

Голос царя сорвался. Сам он дрожал. Весь собор заколыхался сдержанным, глухим ропотом. Многие испуганно крестились словно бы перед ударом страшного грома после молнии. Даже у Паисия, всё время сидевшего неподвижно, статуино, ходенём заходила седая голова под высоким клобуком.

— Чем Русь от соборной церкви отлучилась? — спросил он строго.

— Тем, — закричал подсудимый запальчиво, — что Паисий газский перевёл Питирима из одной митрополии в другую и на его место поставил другого митрополита я других архиереев с места на место переводил же! А ему то делать не довелось, понеже он от ерусалимского патриарха отлучён и проклят... Да хотя б он и не еретик был, а ему на Москве долго быть и не для чего: я его митрополитом не почитаю, у него и ставленной грамоты нет... Всякий мужик наденет на себя монатию — так он и митрополит! Я писал всё об нём, а не о православных христианах.

Он сам чувствовал, что слишком далеко зашёл — это был конь, закусивший удила... Он спохватился было, хотел увильнуть, но было уже поздно: вырвавшиеся из уст сильные выражения — обвинение в еретичестве всей страны — нельзя было поймать и воротить назад: они потрясли весь собор и погубили неосторожного.

Последовал всеобщий взрыв негодования. Москвичи точно забыли о присутствии царя и патриархов; они одно помнили — что все они оскорблены и опозорены, что им, самому православному под солнцем народу, бросили в глаза укор в неправославии, в еретичестве, в латынстве!.. Это ли не обиды?! Да за один намёк на

похлёбство и на потачку со стороны Лжедмитрия ляцкой веры, латынству — Москва сама себя вверх дном опрокинула, в золу обратила этого Лжедмитрия и золою выстрелила на ветер, перетрясла потом, как запылённые онучи, всю русскую землю — из-за одного только слова «латынство»... А тут вся земля и церковь якобы облатынились! Да после этого жить нельзя! Москву осрамили перед всем светом!..

Все повскакали с своих мест, замахали руками. Послышались крики:

— Он отчёл всю Россею! всех нас! Этого нельзя!

— Он назвал еретиками всех нас, православные! Что ж это будет?

— Указ учинить! Али мы собаки латынские! Никон стоял, ошеломлённый общим взрывом, и только оглядывался по сторонам. Царь молчал — он едва держался на ногах от усталости и волнения.

С трудом патриархам удалось утишить бурю; но дальнейшее чтение грамоты Никона — этого поличного — шло уже вяло. Все утомились. Даже у привычного Алмаза Иванова пересохло в горле.

Наконец, грамота кончена. Алмаз Иванов умолк и поклонился. Наступила тишина.

— Бог тебя судит! — горько сказал Никон, обращаясь к царю. — Я узнал ещё на избрании своём, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а

потом буду я возненавиден и мучен.

Слова эти передёрнули царя.

— Святые отцы! допросите его, как он узнал это на избрании своём?

Никон не отвечал, а только вздыхал, глядя на распятие.

— Он же, Никон, сказывал, что видел метлу звездою, и от того будет московскому государству погибель: пусть скажет, от какого духа он то увидал? — заговорил один архиерей.

— И в прежнем законе такие знамения бывали — на Москве это и сбудется, — мрачно отвечал подсудимый. — Господь пророчествовал на горе Елеонской о разорении Ерусалима за четыреста лет.

Паисий встал: он видел, что царь не в силах больше стоять, и потому, благословив его, указал рукою на его место. Никону же показал знаком, чтоб он уходил.

Поклонившись до земли и проговорив глухим, упавшим голосом: «Простите меня, православные!» — подсудимый вышел вслед за распятием, глубоко поникнул головою.

Глава XII. МОРОЗОВА У АВВАКУМА

В то утро, когда в Москве начался суд над Никоном, враг его, непримиримейший из всех врагов, Аввакум, сидел на охапке соломы,

брошенной на земляном полу в углу арестантской келейки подмосковного монастыря Николы на Угреше, и, положив на правое колено измятый клочок синей бумаги, писал что-то деревянной палочкою, макая в стоявший на полу глиняный черепочек.

И Аввакум многое пережил в эти последние два года. Он сидел в заточении то в том, то в другом монастыре, мужественно отгрызаясь от всех своих врагов, вымучился полтора года в тягчайшей ссылке на Мезени, терпя холод, голод и побои, был расстрижен и теперь привезён в Москву тоже на суд вселенских патриархов.

Тюрьма, в которой он теперь томился, представляла кубическую каменную коробку в сажень длины и ширины, с узеньким оконцем за железною решёткою с острыми зубьями. В этой каменной коробке ничего не было — ни стола, ни скамьи, ни кровати; вместо всего этого в угол брошена была охапка соломы, на которой и сидел расколучитель. По сырým стенам виднелась позеленевшая плесень, местами прохваченная морозом и заиндеветевшая; оконце тоже промёрзло так, что если б в него солнце и заглянуло, то оно не в силах было бы пробить своими лучами эту сплошную льдину, в которую превратилось стекло. На одной из стен каменной коробки, в переднем углу, виднелось подобие большого осьмиконечного

креста и грубое изображение руки с двуперстным сложением: эти символы Аввакум выцарапал в каменной стене своими когтями, которые отросли у него, как у собаки.

Аввакум много, почти неузнаваемо изменился с тех пор, как мы видели его у Морозовой, а потом у Ртищевых вместе с Симеоном Полоцким. Седые, длинные и курчавые волосы его были острижены, как у арестанта: это была уже не поповская, не иконная голова, а простая колодницкая. Но тем рельефнее теперь выступала её угловатость и ширококостность; в этой ширококостности темени и затылка и в этой сдавленности и вогнутости лобной кости сказывалось железное упрямство мономана, фанатически преданного мрачному, суровому идеалу непоколебимой выносливости. Он был одет в дырявый нагольный тулуп, из-под которого виднелись ноги, обутые в лапти и пёстрые онучи, перевитые мочалками. По временам он задумывался, клал палочку, заменявшую ему перо, на черепок и согревал дыханием закоченевшие от мороза пальцы. Но это, по-видимому, не помогало: по холодной тюрьме распространялся только пар от дыхания, но теплее не делалось.

— Господи! дунь на рuce мои дыханием Твоим! — страстно обращался он к кресту, выцарапанному им на стене. — Ты печь огненную охладил некогда в Вавилоне дуновением Твоим:

согрей ныне дыханием Твоим божественным
персты мои, да прослаблю имя Твоё,
многомилостиве!

И он снова нагибался и чертил палочкой по бумаге, разложенной на правом колене. А потом начал бормотать про себя вслух написанное:

«Анисьюшка! чадо моё духовное! аль есмь измождал от грех моих и от холоду в темнице моей и не могу о себе молитвы чисты с благоговенством приносить. Ей! не притворялся говорю, чадо! Не молюся, а кричу ко Господу, скучу, что собачка-пёсик на морозе. Пальцы мои в льдины обращаются, всё развалилося во мне, душа перемерзла моя, на сердце снег, на устах иней. Поддержи мою дряхлость ты, младая отроковица, стягни плетью духовную душу мою, любезная моя! Утверди малодушие моё, Богом избранная, вздохни и прослезися о мне!»

Он помолчал и снова стал дышать в застывшие ладони. По щекам его текли слёзы...

— Дунь, Господи! согрей меня! Вить солнце и огонь пекельный в Твоих руках! — опять закричал он, страстно глядя на крест.

Потом опять нагнулся к бумаге и стал читать: «Слушай-ка, Анисья! о племени своём не больно пекись: комуждо и без тебя промышленник Бог, и мне, мерзкой псице. Забудь, что ты боярышня, знатного роду; а умеешь ли ты молоть муку? Мели

рожь в жерновах, да на сестёр хлебы пеки или в пекарни шти вари, да сёстрам и больным разноси. Да имей послушание к матери Меланин, не рассуждай о величестве сана своего, яко боярышня, богачка и сановница — отрицайся мысли сея и оплюй её! Плюй на всё, что не от Бога!»...

Он положил бумагу в сторону, поднялся с соломы и упал на колени.

— Вергни ко мне солнце сюда. Тебе всё возможно! Дуни летом в темницу мою! — молился он.

За окошком тюрьмы слышался скрип саней, бубенчики и звяканье упряжи...

— Ох! ужли это она? — вскочил он в волнении. — Она! её чепа гремят...

Сани проехали на монастырский двор. Аввакум встал и шагал из угла в угол по своей каменной коробке, то и дело поднимая глаза к выцарапанному в углу кресту.

Через несколько минут за дверью слышался шорох и скрип отмыкаемого ржавого замка. Аввакум лихорадочно прислушивался к этим звукам и крестился. Скоро дверь завизжала на петлях и тяжело раскрылась.

— Входите, матушка-благодетельница, — слышался голос за дверью.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас! — зазвучал серебряный голосок, от

которого Аввакум вздрогнул.

— Аминь, аминь! трикраты аминь! — крикнул он восторженно.

В дверях показалось белое, зарумянившееся от мороза личико. Оно выглядывало из-под чёрного платка, которым повязана была голова, и казалось личиком молоденькой чернички. Боярыня Морозова — это была она — робко, со страхом и с каким-то благоговением переступила через порог и, стремительно подвинувшись вперёд, с тихим стоном упала ниц перед Аввакумом и, всплеснув руками, припала лицом к лаптям, прикрывавшим его ноги.

— Ох, свет мой! ох, батюшка! мученик Христов! — страстно лепетала она, обнимая онучи своего учителя.

А он, дрожа всем телом, силился приподнять её, тоже бормоча бессвязно:

— Встань, подымись, мой светик, дочушка моя! Дай взглянуть на тебя, благословить тебя, чадо моё богоданное! Сам Бог послал тебя... Вон я, смрадный пёс, молился Ему, Свету, выл до него: «вергни-де в темницу мою солнце, дуни на мя, окоченелого» — и он послал ко мне солнушко тёплое — тебя, светик мой! Встань же, прогляни, солнушко Божье! — И, приподняв её, он крестил её лицо, глаза, голову, плечи, повторяя восторженно: «Буди благословенна — буди благословенно лицо

твоё, очи твои, глава твоя буди вся благословенна и преблагословенна!».

А она ловила его обе руки, целовала их, целовала его плечи, овчину, которою он был прикрыт, и страстно шептала:

— Батюшка, батюшка! святой, не чаяла я тебя видеть! касатик мой!

За Морозовой, медленно, осторожно переступая через порог, как бы ощупывая ногами землю и пытливо высматривая из-под чёрного клобука, надвинутого до бровей, маленькими рысьими глазками, вошла в келью старая монашенка с большим узлом на левой руке. Она, гремя чётками, сделала несколько широких крестов в угол и, низко поклонившись Аввакуму, коснувшись двумя пальцами земли, протянула руку под благословение. Аввакум перекрестил её, положил свою горсть на её горсть, как бы вкладывая в эту горсть нечто очень ценное, а монашенка поцеловала его руку.

— Здравствуй, матушка Мелания! здравствуй, звезда незаходимая благочестия, — всё так же восторженно проговорил Аввакум.

Старица Мелания — эта «звезда незаходимая благочестия» — была действительно самым крупным светилом своего века и своего общества: умная, энергическая, с необыкновенным запасом воли и самообладания, неутомимая а преследовании своих

идеалов, но в то же время осторожная, замкнутая в себе, когда того требовали обстоятельства, сильная словом, когда она, так сказать, обнажала свой язык, острый, как бритва, и ядовитый, как зубы медянки, смелая и решительная, когда требовался натиск, чтобы сломить препятствия, знавшая всё, что делалось в Москве, проникавшая всюду, как воздух, и, как воздух, неуловимая, — старица Мелания была всеильным и невидимым центром «древляго благочестия»: это был воевода в юбке, воевода невидимых ратей, которые, однако, держали в руках, хотя тайно, всю Москву и далёкие окраины. Старица Мелания была сильнее Никона, которому у неё следовало поучиться борьбе с сильными противниками и уменью побеждать и держать их в повиновении. Она была могущественнее самого Алексея Михайловича, который, сломив Никона, не мог сломить старого дерева — «древляго благочестия», главою которого и игемоном была матушка Мелания. Все тайные приверженцы старины, — а такими почти поголовно были все московские люди, начиная от стоявших у престола и кончая стоявшими у корыта монастырской пекарни, все московские женщины, начиная от царицы Марьи Ильиничны и её ближних боярынь и боярышень и кончая младенькими черничками, — все находились в негласном «послушании» у матушки Мелании, были её слепыми орудиями,

которые «свою грешную волю в конец отсекли, как червивый хвост у собаки». Строгая, фанатичная до изуверства, руководившая всеми, помыкавшая даже такими личностями, как Аввакум, она, однако, не пошла бы с ними проповедовать на площадь, а, как полководец, посылала их в огонь, на виселицы, на костры, а сама оставалась в стороне. И они же, эти безумцы, умирая в страшных мучениях, благословляли матушку Меланию; они же просили палачей или кого-либо из присутствовавших при истязании их и при казни так или иначе довести до сведения «матушки», что они умерли твёрдо, мученически, не поступившись ни одним перстом, ни одною «аллилуйею», ни священным азом.

Матушка Мелания была уже очень стара; но живучесть и энергия светились, как фосфор, в её рысьих глазках, которые ни на кого прямо не смотрели, хотя видели каждого насквозь, будучи, по-видимому, обращены молитвенно горе или сокрушённо долу. Лба её также никто не видал за клобуком, а брови смотрели каким-то навесом над глазами, под которыми эти последние прятались от постороннего взора, как воробьи под крышей от дождя.

После первых приветствий Аввакум усадил своих гостей на соломе, а сам опустился против них на колени.

Морозова с ужасом и дрожью осматривала

страшное помещение. Матушка же Мелания одобрительно оглядывала промерзшие стены, шепча как бы про себя: «Радуюсь, радуюсь за Аввакумушку — экой благодати сподобился, счастливчик».

— Ну, что у вас городе слышно, миленькие? — спросил Аввакум.

— Патриархи вселенские приехали; ноне Никона судят, — сказала Морозова.

— Греческие волки приехали нашего медведя судить, — пояснила матушка Мелания.

— Добро! А как они сами, судьи-то, крестятся? — спросил Аввакум.

— Щепотью, сама видела, — отвечала матушка Мелания.

— Еретики! звери пестрообразные! — Аввакум так и вскочил.

— А у царицы государыни сказывали, — робко начала Морозова, — что и тебя, света, патриархи судить будут.

— Добро! Я их научу креститься! — восторженно произнёс фанатик, сверкая глазами. — Для того и с Мезени меня привезли сюда — травить греческими собаками. Мало того, что бороду у меня отрезали и власы остригли, как у непотребной девки... вон всего оборвали, что собаки — один хохол оставили как у поляка на лбу... Да добро! мне же на руку: меня возьят по градам и сёлам, а я

кричу везде, обличаю их, пестрообразных зверей, а люди божии слушают меня до поучаются, да плачут... Ещё не то будет, когда удавить меня повелят, либо сжечи тело моё похотят: крикну я тогда на весь свет и голос до трубы архангела не умолкнет. Я что! — земля, грязь; пуцай их тело моё жгут, жилы вытягивают — больненько-таки, да за то венец мученический получу, а деткам своим православным крикну: «Смотрите-де, детушки, вон с каким крестом до Бога иду! и вы-де за мной, не ленитесь!» Что ж они думают меня морозом напужать — вон в какую баньку посадили, мало не скостенел; а как взвыл к Батюшке-Свету: «дунь на меня теплом, пошли солнышко», — Он, Милосердый, и послал, да не одно, а два солнышка — это вас-то, миленькие мои... И тепло мне стало, ох, как тепло!

Фанатик действительно разгорелся внутренним огнём и забыл холод, от которого он за несколько минут перед этим буквально костенел.

— А мы тебе, Аввакумушко, и в сам-деле тёпленького привезли, — сказала мать Мелания, указывая на узел: государыня царица, да вот дочушка твоя духовная, Федосьюшка (она указала на Морозову), наготовили тебе приданого что невесте: и сапожки тёпленьки, и чулочки, рукавички с варежками из козья пуху, да и шубеечку лисью мяконьку.

— Спасибо матушке царице, добра она миленькая, добра, что ангел божий! Да и тебе исполать, дочушка моя! — кланялся он Морозовой. — А я на собор хочу вот так пойти, да и ко Господу в светлу горенку постучусь в сём же одеянии: он, Батюшка-Свет, и нищих принимает.

Морозова благоговейно смотрела на него. Влияние этого человека окончательно преобразило её: она стала вся самоотвержение. Богатый дом свой она обратила в общественную богадельню: странники, нищие, юродивые, больные не выходили из её дому. Она ухаживала за больными и гнойными, сама своими нежными руками обмывала их ужасные язвы, сама кормила их. Нежное, пухлое боярское тело она облекла власяницею, до того колючею, что тело её горело и болело, как от огня.

— Нету, Аввакумушко, ещё раненько тебе ко Господу идти, — заметила мать Мелания, — поживи ещё с детками своими, поучи их да порадуйся ими. Вон и Федосьюшка наша надела на себя брачные одежды, — она взглянула на Морозову.

Молодая боярыня вспыхнула.

— Что ты говоришь, матушка? — удивлённо спросил Аввакум.

— Говорю: Федосьюшка-боярыня к венцу нарядилась, — повторила старуха.

Аввакум оглянул Морозову, которая сидела

вся пунцовая, готовая расплакаться от стыда.

— Что ты, матушка! — защищалась она. — К чему это?

— К тому, что твой батюшка духовный всё должен знать... Федосьюшка-боярыня власяницу надела, — обратилась старуха к Аввакуму, — да думает и ангельский образ прияти.

Глаза Аввакума засветились радостью.

— Слава тебе, Господи, Создатель наш! — говорил он восторженно. — Не одна Анисьюшка-боярышня на боярство своё наплевала, к нищей братии пристала и ангельскому чину приобщилась... Что боярство перед ангелы! А вот и дочушка моя Федосьюшка туда ж возревновала, золотая моя! Иди, иди ко ангелам — благо ти будет в том весте... А я Анисье тут многонько-таки настрочил: снеси ей, матушка, — пускай не забывает меня.

И Аввакум, достав из-под соломы исписанный листок, подал его матери Мелании.

Дверь кельи неожиданно отворилась, и на пороге показалась рослая фигура мужчины в собольей шубе и высокой шапке. Открытое лицо с русою бородою и серыми глазами смотрело приветливо. При виде его и молодая боярыня, и старая черница встали с своих соломенных сидений.

— Здравствуй, Аввакум! — сказал

вошедший. — Здравствуй, матушка боярыня Федосья Прокопьевна! Здравствуй, мать Меланья!

Все отвечали поклонами на приветствие пришедшего, который был никто иной, как Артамон Сергеевич Матвеев³⁴, входивший в то время в силу и известный своим пристрастием ко всему новому и иноземному.

— Як тебе от великого государя, — обратился Матвеев к Аввакуму. — Великий государь указал сказать тебе, Аввакум, что ноне у нас на Москве вселенские патриархи: святители-де прибыли к нам ради Никонова неистовства и установления церкви — и ты бы-де, Аввакум, соединился с святителями во всём.

— Не соединюсь я с ними ни в чём! — резко отвечал фанатик. — Ни в перстном сложении, ни в **азе**. Умру, а не соединюсь с отступниками.

— Да какие же они отступники? В чём и от кого отступились? — спросил Матвеев.

— Ах, Артемон, Артемон! — по обыкновению страстно заговорил фанатик. — Знаю я, тебе всё равно, как ни молись: ты и в костёл пойдёшь, и крыж ляцкой поцелуешь...

— Для чего его не поцеловать? Не его целую,

³⁴ Матвеев Артамон (Артемов) Сергеевич (1625–1682) — ближний боярин царя Алексея Михайловича.

а Христа.

— Добро! Тебе всё едино: что святая библия, что твой «Василиологион», что евангелие, что «Мусы» эллинские. Ишь напечатал на соблазн людям! А люди оттого гибнут: вон сколько уж замучили наших-то! Али так ко Христу приводят, как вы приводите — кнутом да виселицей, да огнём! Чудно мне! Как в познание не хотят прийти: огнём, да кнутом, да виселицей веру утвердить хотят! Где это видано? Токмо у язычников. А апостолы разве так учили? Мой Христос не приказал апостолам так учить, еже бы огнём, да кнутом, да виселицею в веру приводить.

Господь сказал ученикам: «шедше проповедите языком — иже веру иметь и крестится, спасён будет». Видишь? Волею зовёт Христос, а не приказал огнём жечь да на виселице вешать. Чудно право! Ослепли, что ли, всё, что ничего не видят. Эки Диоклетианы новые явились³⁵, словно мы в Риме при Нероне живём, либо в Персиде. Да что много говорить! Значит, так надо у Господа: аще бы не были борцы, не даны были бы венцы. Ну, давайте нам венцы, венчайте нас. Кому охота венчаться мученическим венцом, не почто ходить

³⁵ Диоклетиан — римский император, предпринявший в 303–304 гг. жестокие гонения на христиан.

далеко, в Переиду либо в Рим к Неронам да Диоклетианам: у нас и дома, на Сретенке, свой Рим, свой Вавилон. А! нутко, правоверие! стань на Красной площади, либо в Кремле, нарцы имя Христово, подыми руку да перекрестися знамением Спасителя нашего двумя персты, яко же прияхом от святых отец — вот тебе и мученический венец, царство небесное дома родилось — не почто за ним ходить в Переиду к Диоклетиану мучителю. Ишь умники! ученые-ста! Христу палачей в ученики дали, да приставов немилостивых, да стрельцов: учите-де кнутом да тюрмой! Эх, не глядел бы! Так уж вы и евангелие перемените, благо крест переменили: «иже-де веру иметь и крестится щепотью — спасён будет, а не крестится никонианскою щепотью — ино того засеку, повешу, изжарю»... Так бы следовало Христу сказать. Эх!.. А я вот неучён человек, гораздо несмыслен, да то знаю, что всё, что церкви от святых отец предано есть, свято есть и неприкосновенно: не тронь и **аза**, а тронешь **аз**, за ним и все трогать станут: на то люди — люди. И вот я, яко же приях, держу до смерти и **аз** удержу, хоть меня повесьте. До нас оно положено, так и лежи оно так вечно, во веки веком! А то на — переучивать кнутом стали — эки апостолы! А люди погибают, а кровь неповинная льётся, а церкви пустуют, христиане прячутся по вертепом, да по

пропадем земным, как в оно время, при мучителях римских... Эко времячко, Господи Боже!

Аввакум даже всплеснул руками. Морозова стояла бледная, не опуская глаз с своего учителя и с ужасом иногда взглядывая на Матвеева. Мать Мелания с потупленными глазами и с наклонённою головою, казалось, застыла от страху. И Матвеев стоял изумлённый, будучи не в силах остановить страстной речи фанатика.

— Так что ж мне доложить великому государю? — удалось ему наконец вставить своё слово. — Соединишься с вселенскими патриархами?

— Не соединюсь вовеки! — отвечал изувер. — Доложи великому государю, что мы сами за него, батюшку, умолим Господа, и за него, света, и за царицу, и за его царство. А им, грекам, какое до нас и до него дело? Своего царя проторговали туркам³⁶ и нашего проглотить сюда приволоклися! Так и доложи великому государю: я, протопоп Аввакум, не сведу с высоты небесной рук, дондеже Бог не отдаст нам нашего царя, благочестивейшего и тишайшего Алексея Михайловича всея Руси.

— Напрасно упрямуешь, — сказал

³⁶ В 1453 г. пала Византия, её столица Константинополь была захвачена турками и переименована в Стамбул.

Матвеев. Аввакум вспылал.

— Упрямствую и буду упрямствовать! Слышишь, я хочу венца! я соскучился об венце! Вот уже сколько лет ищу его, а вы мне не даёте. Дайте скорей! Рубите голову, надевайте на неё венец нетленный, а греховное и мерзкое туловище долой! Будет — потаскал я его: хочу один венец носить без туловища... А вы оставайтесь с туловищами да в шапках из звериной шкуры... Так и доложи — ни слова не выкидай, ни аза!

Матвеев безнадёжно махнул рукой и вышел, бормоча:

— Пустосвяты!

Глава XIII. «ГЛАЗА АНГЕЛА»

Через день было второе заседание вселенского собора.

Никон вошёл в столовую избу медленно, едва передвигая ноги и тяжело опираясь на посох. Он казался угнетённым, подавленным. За день голова его посеребрилась ещё более, и ему, видимо, тяжело было держать её на плечах.

Когда он кланялся царю и патриархам, то с трудом поднимался от полу.

Царь снова встал с своего места и остановился против патриархов. Он был бледен.

— Святая и пречестная двойце! вселенстии

патриарси! — начал он дрожащим голосом. — Бранясь с митрополитом газским, писал Никон в грамоте к константинопольскому патриарху, якобы всё православное христианство от восточной церкви отложилось к западному костёлу, — и то он писал ложно: святая соборная восточная церковь имеет Спасителя нашего Бога многоцелебную ризу и многих святых московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало: держим и веруем по преданию святых апостолов и святых отец истинно.

Он остановился, и оглянул весь собор. Затем, возвыся голос, с особенною силою выкрикнул:

— Бьём челом, чтоб патриархи от такого поношения православных христиан очистили!

И царь поклонился до земли. Буря пронеслась по собору, застонала столовая изба. Все упали ниц со стоном: «Смилуйтесь! очистите, святейшие патриархи! снимите позор со своей российской православной земли!»

Сотни голов лежали на земле и молились, как в церкви, громко, со стоном, с криком. Это была потрясающая картина — и Никон не выдержал, зашатался: это всё стонало против него, искало его погибели.

И в этот самый момент капризная память его словно волшебством нарисовала перед ним другую картину. На полу, при слабом освещении лампы, бьётся молодая женщина, хватая и целуя его ноги.

Она умоляет его остаться с нею, не бросать её, не уходить в неведомый путь, где ждёт его неведомая доля. А он не внимает мольбам и рыданиям женщины: его манит этот неведомый путь, эта неведомая доля — и он уходит, оставив на полу плачущую женщину. Это была его жена... Теперь он изведал эту неведомую долю: высоко, ох, как высоко она поставила его и вон до чего довела... А не лучше ли бы было в той, прежней, скромной доле?... Да уж теперь не воротить её: между тою долею и этою стоят тридцать лет и три года...

— Это дело великое, — громко произнёс чей-то голос, и Никон очнулся: это говорил Макарий, патриарх антиохийский. — Это дело великое; за него надобно стоять крепко. Когда Никон всех православных христиан еретиками назвал, то он и нас также назвал еретиками, будто мы пришли еретиков рассуждать... А мы в московском государстве видим православных христиан. Мы станем за это Никона патриарха судить и православных христиан оборонять по правилам.

Алексей Михайлович взглянул на дьяка Алмаза, и тот на цыпочках преподнёс царю какие-то бумаги.

— Вот три письма, — сказал царь, — в них Никон сам отрёкся от патриаршества, называет себя бывшим патриархом.

Патриархи взяли письма. Никон молчал, не поднимая головы.

— В законах написано, — громко произнёс Макарий, — кто уличится во лжи трижды, тому впредь верить ни в чём не должно. Никон патриарх объявился во многих лжах, и ему ни в чём верить не подобает. Кто кого оклеветал, подвергается той же казни, какая присуждена обвинённому им несправедливо. Кто на кого возведёт еретичество и не докажет, тот достоин — священник низвержения, а мирской человек проклятия.

А Никон всё молчал. Перед ним всё валялась отвергнутая им женщина, ломая руки: «Микитушка! лучше ли тебе будет там, без меня? Найдёшь ли ты там своё счастье и спасенье?» — «Ох, нашёл — нашёл больше, чем искал, нашёл целое царство — и потерял его, а теперь не найду и того, что было тогда, давно»...

Царь тихо подошёл к Макарию антиохийскому и подал развёрнутый лист и другой-перевод его на греческий язык.

— Письмо Никона о поставлении нового патриарха на его место, — сказал он, кланяясь.

Макарий взглянул на лист — он раньше читал его и хорошо помнил — и передал Паисию александрийскому. Тот взял, поднял свои мёртвые, синеватые веки на лист, потом на Никона и снова опустил глаза.

Никон стоял по-прежнему безмолвно, ни на кого не глядя, и тихо качал головой, как бы отрицая всё, что вокруг него происходило, или как бы созерцая никому невидимые образы.

— Когда Теймураз царевич был у царского стола, — снова начал неугомонный Макарий, — то Никон прислал человека своего, чтоб смуту учинить. А в законах написано: а кто между царём учинит смуту, и тот достоин смерти.

— Смерти, — глухо раздалось по собору.

А Никон всё качал головою, как бы ничего не слыша; да он и не слышал: он был не здесь — его смущённая мысль бродила в прошлом, среди дорогих видений молодости.

— А кто Никонова человека ударил, и того Бог простит, потому что подобает так быть.

Это всё говорил Макарий. При последних словах он повёл своими восточными, молочнo-синеватыми белками по собору и остановил их на полном лице Хитрово. Хитрово вспыхнул. Макарий встал и осенил его крестом, а потом снова перенёс свои белки на царя, стоявшего рядом с Никоном в положении подсудимого.

— Архиепископа сербского Гавриила били Никоновы крестьяне в селе Пушкине, и Никон обороны не дал³⁷, — продолжал своё обвинение

³⁷ Гавриил — сербский архиепископ из знатного рода

Макарий. — Да он же, Никон, в соборной церкви, в алтаре, во время литургии, с некоторого архиерея снял шапку и бранил всячески за то, что не так кадило держал. Да он же, Никон, на ердань ходил в навечерии Богоявления, а не в самый праздник — и то ему, Никону, вина!

Никон не слушал падавших на его голову обвинений. Он прислушивался к чему-то другому... «Микитушка!.. ох!.. суженый мой, не покидай меня, младешеньку, горькою вдовицей... Микитушка! вспомни, как спознались мы с тобой, вспомни совыканье наше, как ты резвы ноженьки мои целовал... не покидай меня, сокол ясный — у нас ещё будут детушки»... И белокурая голова колотится об пол, хрустят тонкие пальцы на ломаемых руках... «Будут дети»... А ему мало этих детей, ему нужны миллионы детей — и бояр, и князей, и царей — чтобы все были его детьми... И они были... всю Русью верховодил он... И вдруг сорвалось.

Он зашатался и упал бы, если б не поддержал его оторопевший царь вместе с крестоносителем.

— Ох, Господи! помилуй нас!

— Божий суд... Господь дунул на него гневом

Ранчей. В 1655 г. вместе с антиохийским патриархом присутствовал в Москве на соборе, где Аввакум восстал против Никонова исправления книг.